ТОМ
IV

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

НЕЧЕСТИВЫЙ КОТ ФОМКА



МОСКВА 1926


ИНСКИЕ
СУББОТ-
НИКИ

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Кооперативное издательство писателей
„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“
МОСКВА, 1926 год

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

НЕЧЕСТИВЫЙ КОТ ФОМКА

РАССКАЗЫ

Кооперативное издательство писателей
„НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ“
МОСКВА, 1926 год

Типография и Словолитня
„КРАСНАЯ ПРЕСНЯ“
3-я „МОСПОЛИГРАФ“
Москва, Мал. Грузинская,
Столярный пер., дом 5-7.
Главлит № 66601.
Тираж 5.000 экз.

СЧАСТЬЕ

I

Павел, заглядывая в окна, обошел дом. Окна, точно бельмами, белели гардинами, на которых летели, не двигаясь, диковинные птицы с пышными хвостами, и птицы мешали заглянуть в комнаты. На двери, обитой блестящей темно-коричневой клеенкой, сияла вычищенная до блеска медная табличка:

„Андрей Петрович Зубов. Доктор медицины“.

Она все та же, эта табличка!

Павел позвонил (ого, как колотится сердце!). Он глубоко вздохнул, раз, другой, третий, — это помогает, чтобы побороть волнение.

— Кого надо?

Горничная с белой крахмальной наколкой на рыжих волосах смотрела на Павла строго. Кого? Павел смутился.

— Доктора... Андрея Петровича.

Горничная оценивающим взглядом осмотрела Павла, — измученное землистое лицо, смятую фуражку, потертое жиденькое пальто, сапоги, высоко измазанные грязью.

— Доктор здесь не принимает. Идите в больницу.

— Нет, мне его надо здесь.

— Я же говорю, он не принимает.

Павел криво усмехнулся.

— А вы ему скажите, что пришел сын, Павел.

У горничной в глазах мелькнул испуг.

— Сын? Вы — сын?

— Да-с, сударыня, вот именно, я сын Андрея Петровича. Так и доложите ему.

Горничная торопливо распахнула дверь. Павел вошел в переднюю. Вот и сундук тот же, — стоит мощный, огромный, как баржа, вдоль стены справа — в этот сундук, бывало, клали шубы на лето, пересыпанные нафталином, — и замок на сундуке тот же, — большой, черный, с медной пластинкой над скважиной. И пахло, как шесть лет назад, — духами, нафталином, табаком, людьми — уютный, культурный запах. Горничная скрылась. Павел неторопливо повесил пальтецо и фуражку и, приглаживая рукой волосы, прошел через дверь в гостиную, где во весь пол пестрел ковер — незнакомый. Странный вскрик заставил его обернуться. Из двери, рванув темную плюшевую портьеру, к Павлу бежал старик в голубом халате. Лысая голова блестела, как большая луковица, опушенная по бокам жидкими волосиками. Старик протянул руки, всхлипнул и обцепил Павла за шею.

— Па... Паша!

По щекам у старика текли слезы, весь он был красный, испуганные глаза блестели слезами. Позади, за портьерой, мелкнула женская фигура, и в передней, за плечами, чуялось: стоит горничная с наколкой на рыжих волосах и смотрит. Было немного стыдно, что двое взрослых — отец и сын — плачут при встрече. Оба, должно быть, поняли это, отодвинулись, минуту смотрели один на другого затуманенно, застенчиво.

Отец насмешливо сказал:

— Ну и запаршивел ты, блудный сын! Ой-ой, даже зеленый стал.

Он посмотрел на синюю рубашку Павла, подпоясанную бичевкой, на грязные сапоги и опять на голову — теперь уже пристально, вдруг отодвинулся и сказал испуганным горячим шопотом:

— Пашка, да ты совсем седой!

Привстал, оглядел голову справа, слева, с затылка, повторил:

— Да, да, совсем седой. В двадцать пять лет седой... Что же ты должен был пережить?

Он обнял рукою Павла за талию и повел его к дивану, поглядывая неотрывно на его голову.

— Седой... Ай-ай-ай!

Павел беспомощно улыбнулся, провел рукой по волосам.

— Что ж поделаешь? Не сладко жилось.

— Я думаю,—криво усмехнулся отец.—Тюрьма, что болезнь, не красит.

— А ты все прежний, — сказал Павел. — Тебя будто и время не берет.

Отец стыдливо утер глаза платочком.

— А что нам делается? Мы, брат, революциями не занимаемся и мировых вопросов не решаем. Живем, как птицы небесные. Но ты... не болен?

— Как будто нет. А что?

— У тебя совсем землистое лицо.

— Будет землистое, если в камере от сырости штукатурка валилась кусками.

Андрей Петрович нахмурился. Густые мышастые брови сошлись над переносьем.

— Ну-ну. Что ж? Будем думать, что все это в прошлом. Да. Ну что же, надо устраиваться. Я сейчас.

Он поспешно пошел из комнаты, шагая неслышно, словно покатился мягкий круглый шар. Павел подошел к зеркалу, присмотрелся. Желтое, измызганное лицо, провалившиеся глаза, на крыльях носа налет черной пыли. Все лицо угрюмо, взгляд исподлобья. И даже молодая кудреватая бородка сердито своротчена на сторону.

Из зеркала повеяло на Павла холодом. Стало стыдно своих грязных сапог. Он посмотрел на пестрый ковер — не сделал ли где грязных следов? — хоть следов не было, а хотелось сесть в уголке и поджать ноги, чтобы не показывать сапоги.

Слыхать было: в дальних комнатах кто-то поспешно ходил, говорил тревожно, вполголоса, и где-то далеко хлопнула дверь. Опять вошел отец, — но уже в сером пиджаке, теперь моложе и стройнее.

— Ну-с, иди-ка мыться. Начнем тебя на точку ставить, с культурой знакомить. Отвык поди?

Он опять взял сына за талию, поцеловал в висок и повел из гостиной. За дверью он лицом к лицу столкнулся с молодой полной женщиной, одетой в розовое открытое платье.

— А вот, Клавдия Васильевна, это мой сынок Павлуша. Прошу любить и жаловать.

Павел услышал в голосе отца нотки смущения.

— Очень приятно, — сказала тягуче, словно запела Клавдия Васильевна, протягивая руку полную и белую, обнаженную по локоть. — Наконец-то вы дома.

От ее ли слов или от лица — белого и полного — на Павла подуло свежим ветром. Белая, с белой шеей, глаза черные, живые, с блеском, как вишни-владимирки, и свежие зубы мелькнули белыми птичками.

Павел неловко кланялся, улыбался глупо и ошеломленно и плохо разбирал, что ему говорили. И только, когда вышли в ванную, он спросил отца:

— Кто же это?

Андрей Петрович чуть отвернулся:

— А это... экономка... домоправительница наша. Да... Ну да... вот мойся. Пока мое надень, а свои лохмотья брось. Да. А я по делу. Я сейчас.

И суетился, говорил торопливо и торопливо же ушел. Павел, раздумывая о Клавдии Васильевне, стал раздеваться. Какое ласковое уютное лицо! Пять лет — только суровые, озлобленные, ожесточенные лица арестантов и тюремщиков, только грубость. А этот уют, это лицо, эта теплая вода ванны, чистое ласковое белье, — отцовское, просторное, — и зеркало до потолка — даже здесь зеркало!

Бурлил на столе самовар, дожидался нетерпеливо. Павел, освеженный и бодрый, с блестящими от воды гладно причесаннами волосами, в отцовском пиджаке и мягких туфлях, пришел,— застенчиво улыбаясь навстречу Клавдии Васильевне.

Когда уселись, она, подняв чайник над его чашкой, спросила:

— Вам крепкий?

Павел удивленно смотрел на нее.

— Я спрашиваю, вам крепкий чай налить?

Он улыбнулся беспомощно:

— Все равно.

Сколько лет его не страшивали об этом? И вообще, хотел ли кто знать там, что пьет и что он ест? Никогда, никто. Это, конечно, смешно спрашивать, крепкий или некрепкий чай пьет арестант. Отчего же тепло стало? Или от этого глупенького вопроса? Он мельком, украдкой смотрел

теперь на Клавдию Васильевну, на ее белые полные руки, ямочки на локтях, полную шею, розовые щеки, на белые поджаристые аппетитные булочки, что лежали на белом блюде вот как раз возле, — и почему-то Клавдия Васильевна казалась тоже вкусной аппетитной булочкой... Пять лет Павел не видал женщины, — разве на этапах когда, издали. И не знал, о чем теперь говорить.

Но пришел отец, веселый, шумный, с румяными щеками. За ним горничная — та самая, что встретила так сурово Павла — внесла коробку и узлы.

— Ну, привез тебе обмундировку. Это пока. Потом закажешь сам. Послал сказать тетке Марьяне. Сейчас, вероятно, приедет. Налей-ка, Клавочка, мне стаканчик.

Он суетливо и отдуваясь сел к столу, похлопывая сына по плечу.

— Так-то, брат.

Клавдия Васильевна не спеша налила стакан чаю, протянула его через стол. Но Андрей Петрович не заметил. Тогда она сказала:

— Да берите же чай, Андрей Петрович.

— А, виноват, спасибо, Клавочка.

Павел удивился. „Клавочка? Ты?“...

Вдруг в передней зашумело, закричало. Андрей Петрович засмеялся.

— Легка на помине.

И шариком покатился из столовой. Павел вопросительно посмотрел на Клавдию Васильевну.

— Марианна Петровна идет.

Басовитый голос раздался за дверью:

— А где он тут? А подайте мне его?

Павел засмеялся: так пугали его, бывало, в детстве, если он, маленький, капризничал. Он подошел к двери. Из-за портьеры высунулась незнако-

мая голова в чепце. Женская? Но почему же усики и так много волос на подбородке?

— А-а, вот он какой стал!

И тетенька Марьяна вошла в комнату — необ'ятно толстая, похожая на копну сена, в шумящем темном платье. Когда она, бывало, шла по улице, мужики оглядывались на нее сзади и, качая головой, говорили:

— Н-да, это ягодка!

Теперь тетка стала еще толще. Она облапила Павла, и Павел стал перед нею тоненьким и стройным. Она поцеловала его в голову, губы, глаза. И заплакала. Обе щеки у нее затрепетали.

— Слушай, Пашка, да ведь ты стариком выглядишь. И чорт тебя побери с твоей политикой!

Голос у нее был суровый, басовитый — точно бубнил.

— Дурак! Какой ты дурак! Ай-ай-ай!

Она покачала головой, и ленты на чепце у ней затрепетали. Андрей Петрович нахмурился.

— Будет, сестра. Я думаю, он сам себя больше нас ругал. Что там? Садитесь.

Тетушка подошла к столу и (Павел заметил) чуть насмешливо раскланялась с Клавдией Васильевной:

— Здравствуйте, милая моя Клавдия Васильевна.

Но руки не подала. И, усаживаясь, кричала шумно:

— Слава богу, хоть жив-то вернулся. Совсем что ли?

— Пока не совсем. Два года надзора придется отбывать.

— Два года? Долгонько. Ну да время не пропадет. Вот жениться тебе надо, а то что ж ты, словно камень на дороге.

У Павла зарделись скулы. Тетка заметила:

— Ты не смущайся. Что там? Без бабы не обойдешься. Так что ли я говорю, братец родимый?

Она почему-то значительно мигнула. Клавдия Васильевна ярко зарделась. А тетка, как орехи из мешка, посыпала расспросы.

После чая она сама водила его по квартире.

— Здесь вот была твоя комната. Здесь — спальня твоей мамаши... Ну, я не хочу теперь туда заходить.

— Почему, тетя?

— Да эта Клавка теперь там штаб раскинула.

— Так что же? Скажи, кто она?

Тетка отвернулась.

— Много будешь знать, скоро состаришься.

И заговорила о другом.

И как-то таинственно:

— Ты зайди ко мне. Я хочу поговорить с тобой долго и серьезно. Зайдешь?

— Зайду.

— То-то. Не забудь. Зайди поскорей. Дело важное...

Дом родной все такой же был уютный, большой, и пахло в нем будто так же. Каждая мелочь здесь была памятна и приятна. Только — откуда так много икон и лампад? Прежде, при матери, их не было.

Ему устраивали комнату — его прежнюю. Когда поздно вечером, проводив тетку, он остался один и увидел свою кровать, покрытую белым одеялом, чистую и мягкую, он засмеялся от удовольствия. Как все было далеко от тюрьмы. Однако, ночь он спал тревожно: беспокоило, что нет света. Сейчас подойдет к двери часовой, откроет волчок и закричит:

— Почему нет света?

Он просыпался, испуганно оглядывался, окно слабо светилось от уличного фонаря, и на окне не было решетки. Тогда он вспоминал, что тюрьма далеко.

II

В тюрьме уже в шесть пили чай. И теперь сказалась пятилетняя привычка,— Павел проснулся рано. Он полежал в постели, слушая. В доме нигде ни звука. Только в соседней комнате отчетливо и важно стучали старинные часы. Часы! Он представил их лицо. Они вот здесь, вот в соседней комнате, как бывало — при маме, в детстве,— такой же голос у них,— и гири большие, и на циферблате пастух и пастушка. Эти часы подарил маме дедушка Максим. Вернуться домой — взрослым, измученным, и опять услышать те же голоса, что слышал в детстве. Вот папа — он новый. Суетливый по новому и лысый — голова вроде луковицы, — новое в нем, и по нему не вспомнишь детство, забытую радость. А часы неторопливо, звучно, важно говорят: чу-чу-чу-чу. Закрыть глаза и вспомнить... О, часы! Как тепло,— не от их ли голоса?

Он полежал в постели, чему-то радуясь, потом тихонько оделся и вышел в сад.

Голые деревья голубыми простертыми ветвями встречали солнышко. Земля в саду уже оттаяла, и пахло ароматной прелью и весенним холодом.

Вдоль дома, у забора, у корней деревьев еще лежал снег заледенелый, зеленоватый, замусоренный. На лужицах белел лед. Наступишь — он звучно хрустит. Воробьи, по весеннему вз'ерошенные, отчаянно кричали и дрались на крыше и деревьях.

Павел остановился, смотрел на воробьев долго. Пять лет только камни под ногами. Ни деревца, ни земли, ни воробья, ни неба вольного...

Он пошел по дорожке. Сад разросся так, что и узнать его нельзя. Но дорожки те же — разметены и посыпаны желтым песком. Забор, отделяющий „докторский“ сад от „больничного“, все тот же, только постарел, и зеленая краска на нем кое-где слиняла. А калитка!.. ага, вот ее чинить пришлось, — новые заплаты ярко желтели новым струганым деревом. За забором проехал кто-то, распевая тихонько песенку; слыхать, стучат колеса, и звенит ведро. Должно быть, водовоз поехал... как бывало.

— Ты уже здесь?

Павел обернулся. К нему, шагая через лужицы, шел отец в желтом, отороченном мехом пальто, в желтой меховой шапке и высоких калошах. Он подошел и поцеловал сына в щеку.

— Рано проснулся? Я тоже просыпаюсь рано и гуляю здесь. У нас по утрам хорошо.

Теперь, в шапке, закрывающей лысину, он был больше похож на прежнего папу.

— Вставай раньше, ложись раньше, питайся получше. Тебе это очень не вредно. Поправляться надо. Вон ты какой зеленый.

Он взял сына под руку, повел по дорожке, — и пахло от него здоровьем, довольством, покоем.

— Что ж, поставлю тебя за образец и буду добиваться, — пошутил Павел.

— Вот-вот. Я, брат, пять с половиной пудов вешу. Стал еще прибавлять, да нет, бог с ней, с полнотой. Довольно. Меры принимаю, чтобы не зажиреть.

Они прошли до беседки — полинявшей, постаревшей, обвитой диким виноградом, ветви которого

теперь, как сухая толстая проволока, висели со всех сторон и путались пучками под крышей. Ступеньки и пол в беседке были усыпаны песком.

— Зайдем? Я каждое утро сюда захожу.

Они поднялись по ступенькам. С любопытством Павел осмотрелся. Здесь когда-то он зубрил—готовился к экзаменам, здесь, забывая о времени и еде, тонул в книгах...

На столбике, справа, среди желтой полинялой краски чернели давно вырезанные буквы „О и П". Павел вспыхнул и резко отвернулся, точно эти буквы его уличали.

— Да ты меня не слушаешь?

— Нет, папа, я слушаю.

— Так вот, надо нам поговорить. Во избежание кривотолков.

— Я тебя слушаю, — сказал Павел, думая о буквах.

— Я хочу поговорить с тобой об одном щекотливом деле. Ты, брат, не осуждай меня строго. Я знаю, ты без предрассудков, а все же...

Павел пристально посмотрел на отца. Тот опустил голову и сказал глухо и сердито:

— Клавдия Васильевна мне ведь жена. Понимаешь? Незаконная, конечно, а все-таки — жена.

Холодный нож полоснул по сердцу Павла.

— Я, брат, ужасно боюсь одиночества. Голые стены, чужие люди. Это, брат, страшно... Я и... пригласил Клавдию Васильевну. Она ничего женщина, не глупая. Тебя ведь почти шесть лет не было. Я, как перст, один да один. И... пригласил.

Он говорил с трудом, откашливался, путался и весь побагровел.

— Скучно, брат, одному. Ты как?

У Павла пересохло в горле, и нужно было кашлянуть, прежде чем ответить.

— Я что же? Разве я могу тебя осудить за твою жизнь?

А колючая мысль где-то била:

— „Во-он оно что-о!“

И перед глазами выплыли полные румяные руки Клавдии Васильевны с ямочками на локтях, полная шея, большая колыхающаяся грудь.

Отец будто обрадовался.

— Ну, и хорошо! Ты снял камень у меня с души. Конечно, оправдываться мне перед тобой нечего, но все же... я боялся, что ты рассердишься. А ссориться с тобой я не хочу.

Теперь Павел смотрел прямо на вензель, вырезанный на столбе — „О и П“. Каждый жаждет любви, мечтает о любви — от гимназиста Пашки Зубова, которому ночами не давали спать черные глаза Олечки Дьяконовой, — до лысого старого доктора Андрея Петровича Зубова. Помирись! Как же иначе?

Павел, улыбаясь, посмотрел на отца. Тот придвинулся и опять поцеловал его в щеку, — холодные усы неприятно щекотали.

— Думал, умру, не дождусь. И сердился порой на тебя. На кой чорт тебе нужна политика? Ну-ну-ну, не хмурься! Это я так. В пятом году я сам, брат, петиции подписывал. Потом года три допрашивали, хотели было с должности уволить. Только городская дума отстояла.

Они, разговаривая, походили по дорожкам сада. Солнце лилось горячей рекой, и оттаявшая земля дымилась летучим тонким паром. На верхних ветвях вяза сидел скворец и, трепеща крылышками, пел — заливался. Павел опять подумал о любви, которой жаждут все, — и доктора, и скворцы, и арестанты.

Клавдия Васильевна ждала их в столовой; над самоваром поднимался пар до потолка. Белая скатерть сияла чистотой, фарфоровые чашки, серебряная масленка, ложки, салфетки светились, и будто светилась сама Клавдия Васильевна. Все чистое, вкусное...

Он заметил, как напряженно посмотрела Клавдия Васильевна Андрею Петровичу в глаза, о чем-то спрашивая. Андрей Петрович кивнул ей еле заметно. И Клавдия Васильевна сразу повеселела и поглядела на Павла ласково. Она показала на стул против себя.

— Сюда вот садитесь. Это место ваше.

Свет из окон падал прямо на нее, — и она была перед глазами вся, очерченная четко каждой своей чертой, в розовом открытом платье, с крупным, белым лицом, с тугим клубком темных волос на голове, как в венце. Андрей Петрович сказал:

— Ты, Клавочка, корми его как следует. Видишь, до чего его тюремные харчи довели.

Она чуть вызывающе улыбнулась:

— Я уже постараюсь.

III

А город был все такой же, как много лет назад: маленькие деревянные домики в два окна, в три, четыре, с резными ярко раскрашенными наличниками. На окнах виднелись коленкоровые занавески с зубчиками и горшки с бальзаминами и геранью (яранью, как ее зовут здесь). Ставни — с железными толстыми болтами, заборы высокие — по гребню гвозди остриями вверх. И очень много собак. Из-под каждых ворот — лай. У собак ноги грязные по колено, и на хвостах и на боках грязь,—и вид у собак свирепый. Они мужественно

перескакивали через канавы и с громким лаем бросались на пролетку. Павел вертел головою направо, налево, усмехался: „Крепко же берегут здесь маленькое счастье“.

— Не узнаешь? — спросил Андрей Петрович.

— Узнаю. Только все маленьким стало.

Там, в тюрьме, думая о родном городе, он представлял его красивым, уютным и бесконечно милым. А эти домики с занавесочками и палисадниками, и оглушительные собаки под каждой подворотней, и брызги грязи из-под колес пролетки, — что в них?

— Маленькое потому, что ты вырос.

Когда выехали на Соборную улицу, и Павел увидел обезображенные подрезкой тополя, мертво торчавшие справа и слева вдоль тротуаров, ему стало совсем печально. Под этими тополями, вот на этих тротуарах, бывало, собиралась вся молодежь города. И тополя тогда казались высокими, тенистыми.

В доме, где помещался земский книжный склад, теперь по всему фасаду красовалась вывеска „Пивная лавка“, а на окнах стояли рядами пивные бутылки. К этим окнам он когда-то жадно прилипал, рассматривая обложки новых книг.

Портной Курц — лучший портной в городе — извивался червяком перед Андреем Петровичем, и сразу поставил перед ним и перед Павлом три стула.

— Вот это мой сын, — снисходительно сказал Андрей Петрович, — вы сошьете ему костюм и весеннее пальто. И чтобы через четыре дня все было готово.

У Курца черные глаза закатились под лоб, а руки молитвенно сложились на груди.

— Глубокоуважаемый доктор. Никак невозможно! Честное слово, невозможно. Идет право-

славная пасха, и все мастера у меня заняты вот как.

Он показал обеими руками на свою маковку.

— Ну, это меня не касается, что с вашими мастерами, а через четыре дня вы принесете пальто и костюм готовыми. За скорость можете присчитать, что полагается. А сейчас покажите материал, мы выберем.

Курц завертелся волчком, зашаркал, сам побежал к полкам с материей, позвал помощника, и вдвоем они положили перед Андреем Петровичем гору материи.

— Выбирай, Павел.

Курц, снимая мерку с Павла, прикасался к нему почтительно, как к нежной кукле, и бормотал заискивающе:

— О, какой великолепный рост, какая грациозная талия!

Павел смущался, словно его вывели на посмешище. Он был рад, когда его Андрей Петрович оставил на улице одного. И любезность, и заботы ему были непривычны и тягостны.

— К тетке зайди. Она ждет! — крикнул Андрей Петрович, садясь в пролетку.

Знакомыми улицами, странно постаревшими, он пошел к горам. Дом тетки был на самом взгорье, на Знаменской, большой, каменный дом с четырьмя белыми колоннами. Уездный казначей Забалыков любил все большое, возвышенное — и дом потому построил на взгорье (сверху на город смотреть), с колоннами, но услаждался недолго: умер вскоре после постройки дома.

Его супруга, Марианна Петровна, живет уже много лет одна в доме, только дочка Зина с ней.

И дом постарел и сдался, — уже не такой большой и важный стал, каким он казался Павлу лет

восемь назад. Колонны чуть облупились, пожелтели, — и лица у них стали, как у старушек. На дворе важные болтливые индюки встретили Павла сердитыми криками гло-гло. Черная маленькая собаченка громко залаяла, индюки забормотали торопливее и тревожнее, и в окнах мелькнуло чье-то лицо. По деревянной дорожке Павел пошел к крылечку. Черная собаченка бежала за ним, лаяла заливисто. Сама тетушка вышла на крылечко встретить.

— А-а, Дон-Кихот! Здравствуй. Гляжу в окно,— ты. Обрадовалась. Входи, входи.

Она говорила громко, резко, словно ругалась,— необ'ятно большая, жирная, в пестром капоте. Лицо у ней было расцвечено белыми, желтыми и красными красками, и под серыми большими глазами высились большие дули. Она обняла Павла, чмокнула в щеку, повела в комнаты.

— Сколько лет ты не был у меня? Лет десять, пожалуй? Ну, конечно. Помнишь, как ты честил нас: „мещане, эгоисты“... Ах ты, рыцарь. Гляди-ка, мещане попрежнему вольготно живут, а рыцарь вон какой стал — ни воли, ни холи, — в двадцать пять лет стариком глядит. Ну-ну-ну, не хмурься. Вижу, куда гнешь.

Опять старым и знакомым пахнуло. Неужели стол все тот же? А лампа? Да, и стол тот, и лампа та. Солнце косо било в окна, и в лучах кружились пылинки. Все, как было десять лет назад. А эта девушка с пышными волосами?

— Что уставился? — закричала тетка, — или не узнал? Это же Зинка моя.

Девушка пошла навстречу Павлу, глядела удивленно и заговорила нараспев:

— Неужели это мой двоюродный братец? Мама, а где же у него борода?

Обе — мать и дочь — водили Павла по дому — восемь просторных комнат, полных мебели в чехлах.

— Это зал. Это кабинет покойного Семена Степановича — так и не трогаем ни одной вещи здесь.

— И одни живете?

— Одни. Пустили было квартиранта поручика Лызлова, думала я, благородный человек, а он, представь, с‘ехал и даже за обед не заплатил. А еще за Зиной ухаживал, думал жениться.

— Мама! — укоризненно закричала Зина.

— Что мама? Стесняться нечего: люди свои.

— Да кто бы за него пошел замуж? Это вопрос.

— И-и, милая моя, никакой не вопрос. Вот сидишь в девках, а женихов-то ведь нет?

— Поехала бы я на курсы, и женихи бы нашлись. А ты не пускаешь.

— Знаю я эти курсы. Завертелась бы вертушкой, а жениха все равно не нашла. Вон Анюта Косарева — и курсы кончила, и все равно — старой девкой осталась. — Ну, ну, будет. Не перечь. Девушка должна быть скромницей, а ты матери не даешь рта разинуть.

В столовой уже кипел самовар. Павлу, как очень редкому гостю, налили огромную, вроде полоскательницы, чашку Семена Степановича,— чашку заветную, с выразительной глазастой надписью „Пей другую“. Прежде, чем налить чай, Марианна Петровна откинула к плечам рукава своего пестрого капота, точно собиралась в драку. Руки у нее были розовые, очень полные, и Павлу почему-то стыдно было смотреть на них.

— Курсистки. Знаю я этих курсисток! — кричала Марианна Петровна. — Мокрохвостки

и больше ничего. Поедут отсюда — ничего, скромные девочки, а назад — хоть брось. Стриженные, курят, ни дать, ни взять унтер-офицеры.

— Я думаю, ты не права, тетушка, — улыбнулся Павел.

— Не права? Я не права? Ну, нет. Я прямо буду говорить, — взять вот твою Олечку Дьяконову...

Павел вдруг побледнел.

— Чем не девушка была? И скромна, и умница.

— А теперь?

— Теперь вот возле нее какой-то хлюст увивается. Разве так порядочная девушка позволит? Есть жених? Есть. Пусть в тюрьме, но жених. Не за кражу в самом деле сидит. Ну, и подожди, сколько надо. Так нет же... нашла какого-то.

Зина вмешалась:

— Неправда, мама. Оля все время ждала Павлушу.

— Не вмешивайся. Сколько раз я тебе говорила?

У Павла защемило под ложечкой, и чай ему вдруг показался безвкусным. „Вот почему она не писала целый год“.

— Что же ты не пьешь? Пей. В точности пока ничего неизвестно. Может быть, это еще сплетни. Я тебе говорю серьезно, племянничек, выясни все сейчас же и женись. Пять лет не виделись. На что это похоже?

— Она приезжала ко мне... — в тюрьму.

— Приезжала? Когда?

— Два года назад.

— Ну вот, ну вот. Я же говорю, единственная хорошая девушка. И красавица, и скромница, и любит тебя. И так мне это не нравится, что за ней этот хлюст ухаживает.

Тетушка понизила голос.

— Ты обрати внимание, какая она толстушка стала. Будь я мужчиной, я бы всякую политику бросила и одной Олечкой занялась.

Павел еле слушал. „Так вот почему она не писала“. Разговоры, словно вот этот чай и эти печенья, вдруг потеряли вкус. И тетка не удерживала его, когда он начал поспешно прощаться.

— Ну-ну, ты пока напрасно волнуешься, — кричала она. — Не напрасно ли я тебе сказала?

Знакомое нетерпение — скорей, скорей — захватило Павла. Прямо от тетки он пошел к Дьяконовым. На Садовой весь такой знакомый, синий дом, двухэтажный, неясный в сумерках. В верхнем этаже золотели два крайних окна. На окнах гардины, цветы. Перед домом вязы, ясеня, темные в сумерках. „Как разрослись!“ Они знают кое-что, эти вязы и ясеня. Лестница на второй этаж все такая же была гулкая, и шаги по ней гремели. Старушка с седыми волосами в черной наколке встретила Павла сурово и встревоженно.

— Вам что угодно?

И Павел смутился.

— Анна Владимировна, здравствуйте! Не узнали?

Пиджак отцовский — с короткими рукавами, — его смущал. И манишка была словно железный ошейник. Анна Владимировна вдруг закудахтала, всхлипнула, — у ней как-то сразу растрепались губы, глаза стали большими и налились слезами.

— Господи, Павлик! Неужели это ты? Ай-ай-ай!

Она осматривала его, качала головой.

— Что с тобой наделали! Что наделали!

Она так искренно жалела и радовалась, что Павлу стало теплее. Она не знала, куда и как его усадить.

— А Олечка-то как ждала! Господи! И женихов-то сколько было, и хорошие женихи. Так нет же. „У меня, говорит, жених есть“. Знаешь, мой милый, я думала, что ты безнадежно погиб, и даже сама ее уговаривала выбрать другого. Ты уже мне прости. Так нет же! „Что ты, говорит, мама, разве честно будет перед Павлушей?“ И говорить нечего: любила тебя, любила.

Анна Владимировна говорила долго, но все о прошлом: „любила, ждала“. Павлу хотелось спросить: „А теперь?“

— Вот приедет на пасху. Обещала непременно. Какая встреча-то будет! Ты теперь ее не узнаешь, такой красавицей она стала.

После чая Анна Владимировна — с лампой в руках водила Павла по комнатам—даже в спальню водила — показывала картины и рисунки, нарисованные Олечкой. Вся квартира казалась мягкой, уютной, а олечкины рисунки — при свете лампы — прекрасными.

В гостиной во всю стену висела картина: „Драка бизонов“. — Тоже Олечкина работа, — хвалилась Анна Владимировна, — за нее она даже похвальный лист получила. Потом опять они сидели за столом — Анна Владимировна рассказывала про город, про Олечку и как-то под конец случайно спросила:

— Что ж, теперь конец у тебя с политикой?

— Нет. Вот еще надзор отбуду.

На лице у Анны Владимировны мелькнул испуг.

— Какой надзор?

— Два года придется в полицию ходить.

— В по-ли-цию?

— Да. Каждую неделю.

Анна Владимировна посмотрела растерянно.

— Да как же так?.. А мне сказали, ты совсем отделался.

— Нет, еще не совсем.

— Это... это даже странно. Недавно я встретила Андрея Петровича, он говорил мне, что больше у тебя никакой политики...

Что-то оборвалось. Анна Владимировна сразу будто озябла, начала кутаться в шаль, и разговор увял.

— Ну что ж, вот увидишься, наговоришься, — уже скучно сказала она.

И Павел понял: ему надо уходить. Он простился и ушел. Что так старуха забеспокоилась? Такой пустяк — эти два года. Однако, Олечка-то художница. „Драка бизонов"... Он вспомнил про „хлюста", что вертится возле Олечки, и усмехнулся. „Может быть, тоже будет драка — только не бизонов?"

Какие тихие, какие пустые улицы! Уже нигде ни огонька. По весеннему чуть морозило, и все небо светилось звездами, — весенними, яркими, мартовскими звездами, и это от них пахнет бодростью. Где-то далеко, в Нагибовке, лаяли собаки, Под ногами похрустывал ледок. „Скоро приедет".

IV

Почему и как это случилось, Павел не мог бы об'яснить, но все его мысли вдруг и безраздельно заняла женщина. Может быть, сказалась тюрьма: пять леть не видал женщины, — и теперь, когда чаша у губ, — все загорелось нетерпением. Женщина! Раз, в тюрьме, через двор, переполненный гуляющими арестантами, под конвоем двоих надзирателей, вели из больницы молодую арестантку. Все арестанты бросились к ней, заулюлюкали,

засвистали, заорали, как безумцы, будто лицо женщины и ее фигура моментально свели их с ума. Надзиратели должны были вытащить револьверы и пригрозили стрельбой, чтобы сдержать напор дикой толпы. И после, когда женщина и надзиратели скрылись за воротами, арестанты долго толпились на дорожке, где она прошла, и, подняв носы, нюхали воздух.

И вот в эти дни — весенние — Павел услышал: от каждой женщины пахло чем-то особенным, крепким, — может быть, землей просыпающейся, силой, — отчего все дыбилось, рвалось и звало. Пять лет он не слыхал этих волнующих единственных запахов, — и теперь они затерзали его.

Хотелось остановиться и смотреть вслед каждой молодой женщине — смотреть, как колыхаются ее выпуклые бока. И боязно было за свои глаза: как бы не выдали они тайны. Он ходил, опустив взор в землю, встречных осматривал быстро, исподлобья. Может быть, тетка в самом деле права: никакой революции не нужно? Вот взять бы чашу единственную и пить неотрывно. И просто, и ясно, и глубоко.

Он представлял, как эти молодые женщины приходят домой, в эти маленькие домики с занавесочками и цветами на окнах, — там их ждут мужья. Какое счастье быть мужем вот этой или вот этой женщины! И беспокойные мысли его тянулись к Ольге.

Дома ему было чуть неловко, он не мог смотреть на полные красивые руки Клавдии Васильевны, на ее вздрагивающую грудь. И еще смущала его Глаша: почему она с такой готовностью и странной улыбкой смотрит на него?..

Он уходил далеко за город,—бродил по горам,— а Олечка, как женщина, неотступно ходила с ним.

Он чувствовал, как сразу начало наливаться силой и энергией его тело, измученное тюрьмой. И нетерпение росло. Он еще и еще заходил к Дьяконовым. Анна Владимировна встречала его ласково, но странно, — больше не говорила об Олечке. А так хотелось поговорить.

Весна была уже в каждом закоулке. Горы побурели. Снег, как хрупкий мост, лежал только в оврагах, и под ним бурлили потоки. Реку сломало, лед прошел скоро и дружно, на липах в городском саду колонии грачей орали весь день оглушительно. Все наливалось тугой, упорной жизнью, — и уже много лет Павел не ощущал этого беспричинного довольства, когда хочется засмеяться громко и сказать: „Хорошо!“ От Курца привезли костюм и пальто, и было неловко надевать эту разглаженную модную одежду, — так непохожую на арестантский бушлат.

В эти дни — истомные — не хотелось ни о чем думать, только ждать. Вот приедет Ольга, тогда все будет ясно.

С гор на берег реки, от реки в город — он бродил, высматривал, ждал. А город был полон великопостного звона.

В молодом горячем солнышке, в хрустальном воздухе, в бледных фимиамах, что курила земля небесам, — этот звон был странен, как похоронная музыка на свадьбе.

Дома перед иконами каждый вечер зажигали разноцветные лампады — чего прежде, при матери, никогда не было. Андрей Петрович ходил торжественный, толстый, лысый, в просторном домашнем пиджаке, неразговаривающий, — и пел тонким тенорком „Се жених грядет в полунощи“ или „Чертог твой вижду“. Вечерами приказывал Антону заложить лошадь и ехал в церковь — и сидел

на пролетке толстый, важный, опираясь пухлыми руками на палку. Павел смотрел на него удивленно. Полно, отец ли это? Где его добродушная насмешка над попами? Какая перемена!

Клавдия Васильевна командовала целой толпой больничных баб, согнанных убирать докторскую квартиру. Два дня в доме было столпотворение. Потом опять стало тихо, торжественно, и лишь старинные часы говорили неумолчно. В страстной четверг весь вечер во всех восьми церквах, точно перекликаясь, колокола звонили долго-долго, отсчитывая прочитанные евангелия. После, уже ночью, из всех церквей полились по улицам потоки огней. Ночь уже стояла темная, и ущербленная луна крадучись вылезла из-за гор.

В пятницу, в день страстей господних, базар переполнился возами и народом, запрудившими густо всю соборную площадь. По улицам люди тащили розовых поросят, битую обезглавленную птицу, темные окорока, кровавые бараньи туши,— тащили под страстной звон, с гордостью: справим праздничек! Перед казенными винными лавками стояли очереди.

Даже в комнате Павла по целым ночам перед иконою теплился робкий свет, от которого в комнате было уютно. И ночами, лежа на постели, Павел долго присматривался, как тени скользили по стенам и по мебели.

Вот недавно, в тюрьме, казалось: весь мир, все напряженно ждут, — скорей бы революция. Сколько в мире недовольных, сколько обиженных! Ждут напряженно. Заговори с ними о революции, о борьбе, встретят восторженно и пойдут за тобой. Хорошо было в тюрьме думать так и ждать.

И вот свобода. Иди, говори. Кому? Этой очереди, которая стоит перед винной лавкой? Или

бородатым мещанам, что тащат бараньи туши в свои домишки — поскорей от всего света — за занавески, за запоры, там зажарить и с'есть?

А дома — вся квартира — огромная, семь комнат, — была полна скоромных соблазнительных запахов. Раскрасневшаяся, с волосами чуть растрепавшимися, Клавдия Васильевна носилась по квартире, и грудь у ней при каждом шаге поспешно колыхалась под серой фланелевой кофточкой.

— Катя, ставьте сюда! Глаша, вот так ставьте!

Она кричала строго, как командир.

И непреклонность в голосе, и довольство. Только раз послышался испуг.

— Катя, где же серебряная бумажка с колбасы?

— Но я ее выкинула, барыня.

— Ах, боже мой, но разве можно? Это же московская колбаса, и ее надо резать с бумажкой, чтобы гости видели, что колбаса московская!

К вечеру парадные столы были готовы. Их накрыли поверх яств и питей скатертями, чтобы они не блазнили глаз и чтобы не пылились. У окна на отдельном столе стояла толпа бутылок — пузатых, с длинными горлышками, рубчатых, четырехугольных, черных, белых, золотоголовых. Их накрыли газетой.

Уже зажглись звезды, а возня в доме еще не кончилась. Павел бросил книгу, вышел на улицу. Было темно и тихо; и по улице ходили молчаливые люди с разноцветными фонарями. Говорили вполголоса.

Перед полночью в соборе зазвонили. Через минуту откликнулись колокола у Покрова, потом в остроге — и радостный звон повис над городом. В ограде собора люди стояли с зажженными

свечами. Потом река огней потекла вокруг церкви под звон колоколов и пение толпы.

Павел стоял за оградой далеко в сторонке и чувствовал себя бесконечно одиноким. Вот говори им, этим людям, о революции. „Хоть бы скорей приехала Ольга“.

Разговлялись рано, когда только что звонили к поздней обедне. Столы уже были открыты. У жареного поросенка изо рта и ушей торчали свежие цветочки фуксии, колбаса была нарезана вместе со свинцовой бумажкой: „Пусть гости видят, что колбаса из Москвы“.

Отец и Клавдия Васильевна были торжественны. Отец все пел пасхальные ирмосы и счастливо улыбался.

— Волною морско-о-о-ю скрывшего древле гонителя, мучителя фараона...

И при этом важно поглаживал бороду.

„Откуда это?“ — недоумевал Павел.

Отец ему казался совсем новым. Лампадки, торжественность, ирмосы... Главный врач городской больницы ударился в ханжество. Бывало, при матери, ничего не было.

Значит, это внесла в дом Клавдия Васильевна.

— Люблю пасху, — сказал отец, выпив рюмку водки: — во-первых, пасха святая — значит весна идет; во-вторых, пасха — полное разрешение вина и елея. Так-то. Выпьем, Пашка, рюмку рябиновой. А ты, Клавочка, что же отстаешь?

Павел и Клавдия Васильевна выпили. Павел почувствовал приятную теплоту во всем теле. У него слегка закружилась голова.

— Тридцать лет я не верил ни во что такое, но всякий раз пасху и рождество встречаю с удовольствием и по праздничному. В жизни должны быть какие-нибудь этапы. Без этого нельзя...

Разговлялись долго. Андрей Петрович много ел и пил и не переставал говорить.

— Когда я был студентом, пасхальную заутреню всегда встречал в Москве, на Каменном мосту. С одной стороны, тут тебе Кремль, а с другой — храм Христа Спасителя... Такой звон, братцы мои, что сердце прыгает и в ушах дрожание. Хорошо!

Андрей Петрович счастливо улыбнулся:

— У меня, слава богу, есть чем вспомнить свою жизнь.

V

Какие людные, веселые улицы. Они напомнили Павлу его детство. Так же звонили тогда колокола, и так же ходили, качаясь и распевая песни, пьяные мещане, в Нагибовке — в двух кварталах от больницы — нарядное пестрое девье катало яйца и качалось на козлах, а парни с ними — в черных пиджаках, в черных новых картузах с белым картонным ярлычком на околыше. По улицам на извозчиках ездили визитеры — чиновники, купцы. Утром важные, надутые, к вечеру — пьяные. Почтовые чиновники ходили пьяной гурьбой, кричали, пытались петь. Мимо больницы прошли пьяные семинаристы. В докторской квартире с утра звонили звонки визитеров.

Приходили больничные сиделки и прислуга, — их не пустили в дом, только на кухне поднесла им Клавдия Васильевна по стакану водки и дала по серебряному полтиннику. Приходили фельдшера и фельдшерицы — этих приняли в гостиной, но наскоро, торопясь. Толстый усатый фельдшер Роман Семенович, прожевывая кусок ветчины, успел рассказать анекдот. Два раза принимался,

причитая, целовать руку Клавдии Васильевны, и все поняли: фельдшер пьян. Приходили попы — целой толпой, нетрезвой — пели ревучими голосами „Христос воскресе“, пили, закусывали. Приезжал товарищ городского головы — купец Вихляев, желчный, раздражительный человек.

И все деревянно говорили одну и ту же фразу:

— Честь имеем поздравить с высокоторжественным праздником воскресения христова.

У пьяненьких слово — высокоторжественный — не выходило, — это было и смешно и противно.

Все пили, закусывали, — торопились сказать что-нибудь значительное, радостное, приличествующее празднику, — одни — робко и заискивающе, другие — шумно, развязно. И говорили бескрылое, вязкое, вроде: „Вот и дождались... слава богу... праздников праздник... теперь будем троицу ждать“.

Отец был доволен: визитеров много — чести много. Клавдия Васильевна была довольна: она создала этот уют, украсила стол, и ее принимают за хозяйку, целуют ей руки. Глаша была довольна: праздник, ей нравилось ее шумящее платье, — и еще, когда гости уходили, она вынимала из кармана горсть мелкого серебра, что ей дали на чай, и считала.

Приехал воинский начальник — тучный задыхающийся старик, захрипел, закричал сердито (иначе он не разговаривал с людьми), и Павел не вынес, ушел из дому.

„Какая гора глупости!“

К вечеру улицы были пьяным пьяны. Извозчики поспешно везли пьяных качающихся людей, — и точно подхихикивали, ухмылялись, и им было стыдно за своих пьяных седоков. Пьяные чиновники из казначейства прошли толпой и пели что-то

оперное, — запоют этакими „интеллигентными“ голосами и разом оборвут.

На главной улице, на Московской, валялся в канавке возле тротуара рыжебородый мужчина в новом пиджаке, в блестяще начищенных сапогах, лицом к камням. Люди проходили, посмеивались, — никому не было до пьяного дела.

На другой день отец уже сам ездил по визитам, — надел синий мундир, форменную фуражку, — точно в самом деле гордился, что он уездный чиновник.

И еще и еще дни, — пьяные люди под заборами, дикие песни по улицам, драки. У калиток на лавочках глыбами сидят женщины, щелкают семячки, разговаривают неторопливо. И у всех — у женщин, воинского начальника, у Андрея Петровича, у сиделок, у чиновников, у городовых, — у всех на лицах торжество — „Христос воскрес“.

„О чем же думают, чем живут?“

Павел ходил по улицам, смотрел пристально, точно искал ответа. Вот все, каждый по своему, радуются, будто знают, как жить и куда итти, и будто вся жизнь у них — сплошное благополучие.

В эти дни, как-то утром к Павлу пришел товарищ по гимназии Каменщиков. Когда-то вместе — Каменщиков и Павел — устраивали в Рожнове революцию. Каменщиков ходил тогда с кипами прокламаций в карманах, — оборванный, как бродяга. Отец Каменщикова — городской инженер, — приходил в отчаяние.

— В кого ты уродился? Галах, оборванец!

Теперь Каменщиков выглядел франтом. От него пахло духами и тонким табаком. Острая, красиво подстриженная бородка, усики, фетровая широкополая шляпа, высокий воротничек и плащ, почему-то напоминающий Чайльд-Гарольда. От

прежнего осталось — только глухой бубукающий басок. Впрочем, смех остался тоже прежний. Он особенно фамильярно и радостно хлопнул Павла по плечу.

— Ого, как ты изменился!

— Еще б не измениться. Вот и ты изменился. Воротник-то до ушей.

— Воротник ничего. Вот душа изменилась, это хуже.

— Изменилась?

— Веры нет. Или мы с тобой прежде дураки большие были, что верили так, или в самом деле...

— Почему же прежде? Я и теперь верю.

— В революцию и людей?

— Да. В революцию и людей.

Они вышли из дома, пошли мимо садов к кладбищу. Павел — большой, рыхлый, Каменщиков — стройный, франт. Дорогой Каменщиков все жаловался, что у него уже не осталось прежней веры, но жаловался как-то неискренно, словно был доволен теперешней своей жизнью.

— Что ты теперь делаешь? — спросил его Павел.

Каменщиков посмотрел на него и засмеялся.

— К профессуре готовлюсь. Я уже кончил университет. Теперь диссертацию пишу.

Павел почувствовал, как у него под сердцем шевельнулась зависть.

Пока он, Павел Зубов, считающий себя и умнее и лучше Каменщикова, тратил время на тюрьму, Каменщиков вот как шагнул — к профессуре готовится.

— Во-первых, написал сочинение на золотую медаль, а во-вторых, — диссертацию кончаю...

Каменщиков опять засмеялся и заговорил с увлечением о своих работах, об университете.

Но Павел смотрел на него уже враждебно. Дошли до кладбища. Оно было в версте от города, на Соколовой горе, в березовом лесу. Издали было видно: из-за макушек берез смотрят купола кладбищенской церкви. Кого-то несли хоронить, и в церкви перезванивали. По дороге к кладбищу — через мостик — шла темная толпа людей. Приятели остановились.

Слушая этот звон, посматривая на толпу, Павел опять почувствовал глубокую беспричинную скуку.

— Умрем и мы...

— Надо цель жизни иметь, — говорил Каменщиков, — так, спустя рукава, нельзя жить.

— Какую же цель ты себе создал?

— Профессором буду.

— Как это, Миша, далеко от того, о чем мы мечтали!..

— Конечно, далеко. Но все же быть священнослужителем в храме науки, откуда исходит свет на всю Россию — это, батенька, не фунт изюму...

— Гм... Какой же свет?

— Ну все же... университет, студенчество — они стоят высоко. Учить молодежь — большая честь. С именем студента связано все хорошее.

Павел задумчиво пощипал бородку.

— Напрасно. Глупая российская жизнь могла возвести студента на какой-то пьедестал. Студент — это будущий чинодрал или сытый обыватель. Воспитывать чинодралов — не велика честь... Посмотрел я на студентов в тюрьме.

— И что же?

— Да так. Дрянь.

Каменщиков даже остановился от неожиданности.

— Однако, как странно ты стал рассуждать.

— Ничего, Миша, странного нет. Если бы студенчество оправдывало хоть одну сотую надежд, которые на него возлагаются, в России давно был бы социализм. Студенчество горит на школьной скамье и пеплом уходит в жизнь. Словогоны они, не больше... И чуть пнут их, они и растаят.

Каменщиков заволновался.

— Ты... ты, батенька, уже слишком.

— Почему же слишком? Сколько заслужили, столько и получили.

Павел, уже отвыкший от споров, почувствовал себя усталым и замолчал.

Устал и Каменщиков. Оба молча перелезли через забор кладбища и пошли по горе. Земля здесь уже высохла и кое-где сквозь бурую прошлогоднюю мертвую траву показались иголки свежей травы. В монастыре, что раскинулся вдоль реки, звонили. Солнце уходило за дальний лес.

Когда прошли уже Макшанову мельницу и Собачий Хутор и подходили к городу, Каменщиков, смеясь, сказал:

— Знаешь, приехал Курганов вчера...

— Ну и что же?

— Все такой же, — и чудак и дурак. Уже нового бога нашел себе.

— Какого же?

— Человека.

Павел с недоверием поглядел на Каменщикова и засмеялся.

— Не может быть?

— Ей-богу. Человеку хвалебные акафисты поет. Собирается новую религию основать, где богом будет человек.

И оба, вспоминая Курганова, принялись хохотать.

VI

Приходила тетка с Зиной, обе в пух-прах разряженные. На тетке был розовый капор с фиолетовыми цветами, светло-серое платье, расшитое широкой черной тесьмой, — вся она была точно пузатый диковинный гриб с розовой головкой. Нос краснел, маленькие глазки поблескивали. Она сразу наполнила весь дом гамом, — закричала Павлу навстречу, — при всех — при отце, при Клавдии Васильевне, при Зине:

— Что? От Ольги ничего? Ой, не нашла бы себе какого молодчика? Гляди, не прозевай. А впрочем, не стоит гоняться. У нас бабья, что тряпья, — выберем такую, лучше Олечки в десять раз.

От ее слов, бесстыдных и смущающих, Павлу стало весело.

— Бабья, как тряпья? — засмеялся он.

— А что ты думаешь? Ступай-ка на бульвар, — девья набежит там. Любую бери. Жалею, что ты мой племянник, а то бы я тебе мою Зинку сосватала. Ты гляди, какая невеста.

Зина вспыхнула и кудерьки над висками у ней задрожали от смущения. Она стыдливо опустила глаза.

— Ну ж, мама, скажешь ты.

А сама лукаво посмотрела на Павла, — большие серые глаза с черной блестящей точкой посредине, черными ресницами.

— Ну выпьем, выпьем! — закричал Андрей Петрович.

— Что ж, выпить я всегда склонна. Фу, как жарко. Извините меня, я этот чепец сниму.

Колыхаясь, она подкатила к зеркалу, сбросила чепец, поправила волосы, помахала на себя платочком.

— Я вроде чеховской бабы: и не выпила бы, да через грибы выпью: грибы больно вкусны. А я вот через эту рыбку выпью. Ты, братец, Зинке не наливай крепкого. Пьяная она взбалмошная. Раз напилась, да на тройке с Муханиным в Барановку укатила.

— Мама.

— Что мама? Разве неправда? Здесь люди свои.

От выпитого вина и теткиных криков стало весело.

Но вошла Глаша, сказала:

— Городской голова Сапожков.

Тетка тотчас откинулась:

— Вот черти накачали! Это не во-время гость.

А в столовую уже влезал толстый человек в черном сюртуке, на котором сиротливо приютились две маленькие медальки на красных ленточках. Бритое лицо лоснилось, серые щеки тряслись, как мешки. Смеющимися глазами он осмотрел всех, раскланялся торжественно:

— Честь имею поздравить вас с высокоторжественным праздником воскресения христова...

И опять раскланялся, шаркая слоновыми ногами, потом, трудно нагибаясь, целовал руки Марианне Петровне, Клавдии Васильевне, с остальными поздоровался за руку и, поздоровавшись, опять сделал общий поклон, как реверанс.

— Да-с, желаю вам провести его в добром здравии и благополучии.

Марианна Петровна рассмеялась ему в лицо.

— А ты, Алексей Иваныч, обтесался. Смотрю я на тебя и не узнаю. Кто тебе хороший тон преподает?

Все рассмеялись. Сапожков покраснел и тоже засмеялся.

— Вы уже, Марианна Петровна, известно, всякого готовы осрамить.

— Какая срамота? Ты будет, — люди свои. У меня, кстати, и дело к тебе есть, — вот племянник-то мой, видишь? Вот в самом соку мужчина, а одинокий, вроде тебя. Посмотрел бы в своем списке, нет ли хорошенькой какой невестушки.

Сапожков хихикал:

— Хи-хи. Это можно. Что-ж, это можно. Ежели потребуется, — список пред'явлю.

— Вот, Павлик, гляди и учись. Этот прекрасный мужчина двадцать лет ищет себе невесту с приданым, ведет список всех невест в городе и окрестностях, посылает агентов по всей губернии, — а все ж пока не выбрал.

— А-а, Марианна Петровна, и язык у вас — бритва.

— Ты, Алексей Иваныч, со мной не стесняйся, — я, грешница, люблю правду говорить, — не выберешь ты себе хорошую невесту. В конце-концов на кривобокой старухе женишься. Сорок лет человеку, вот брюхо какое нажил, сам сейчас двойню родит, и все не женился. Греховодники вы все. Сколько детей-то на сторону пустил?

Сапожков стал малиновым. Андрей Петрович с беспокойством посмотрел на сестру.

— Ну-ну-ну. У меня чтоб не обижаться и не краснеть. Люди свои. Я говорю всегда правду. Хороших девушек в городе — пруд пруди, а вы, байбаки, не женитесь. Разве так по-божьи? Я тебе, Алексей Иваныч, по совести: женись скорей, а то упустишь...

Когда Сапожков отсидел положенные для визита пятнадцать минут, опять торжественно раскланялся, по хорошему регламенту поцеловал

дамам ручки и вышел, Андрей Петрович укорил сестру:

— Зачем ты его так?

— Не люблю, грешница, — сердито закричала Марианна Петровна, — не люблю. Мешок жиру ходит по белу свету, ищет невесту. Ну, не смешно? А сам гарем завел целый. Не люблю.

Зина смотрела на мать глазами, заряженными любопытством. Павлу стало совестно. Он слышал в тюрьме разговоры самые циничные — между мужчинами, с глазу на глаз. Но здесь... при Зине? Он раньше всех ушел из-за стола. Но тетка покатила за ним.

— Ты что убежал?

И добавила шопотком:

— Я и ходить-то в этот дом стала ради тебя только. Три года не ходила.

— Почему из-за меня?

Тетка сделала строгое лицо.

— Клавки не люблю. Вот сейчас зарежь меня, не люблю.

— За что же, тетя?

— За то, что твой отец с ней открыто живет. Конечно, в каждом доме есть клозет. Почему же не иметь любовницу здоровому человеку? Без этих вещей нельзя. Но чтобы так открыто или чтобы он женился на ней, — это никгода. Разругаюсь с ним вдребезгун, по гроб жизни разругаюсь, ежели женится. Завел бы ей квартирку и ездил бы потихоньку, ночком, а здесь — со мной за один стол сажает, и еще этот дурак Сапожков целует руку на равных правах и ей и мне. На что это похоже?

Понизила голос, зашептала:

— Весь город смеется. Котом его прозвали за эту связь. В клубе пьяные увидят его, — все

в один голос орут: „Эй, подайте нам Андрей-кота порцию“. Вместо антрекота. Срам, срам, срам.

Павел сделал брезгливое лицо.

— Ты что морщишься? Не нравится? Ты все же слушай. Я понимала бы, ежели бы такую пышку вот ты взял, молодой человек, а то — уже старик ведь, о душе надо думать, не о бабьем заде.

— Тетя, перестаньте.

— Ну-ну, и ты. Не с кем и по душам поговорить. Эх, жизнь!

От нее пахнуло вином и жаром. Она ушла недовольная.

„Не баба, солдат. И кричит по-солдатски“.

VII

Был когда-то в городе городским головой купец Долмат Спиридонович Кожелобов — мечтатель и фантазер, любитель лошадей и женщин. Особенно любил женщин. Но по той причине, что любовь к женщинам давно уже была у него безвредна, его звали в городе мышиным жеребчиком, — насмешливо и любовно. Он был благообразный, чистенький, говорил сладким тенорком.

Любил Долмат Спиридонович возить своих волюбленных на гору Дозор, что шапкой поднимается над городом с востóка. На самую вершину в'ехать нельзя было — так круто там. Лошадей оставляли внизу, сами пешечком поднимались на вершину. И Долмат Спиридонович всем говорил одно и то же:

— Драгоценная моя, обратите ваше серьезное внимание на великолепный вид, открывающийся отсюда.

Если в город приезжал важный гость, Долмат Спиридонович неизменно тянул его на гору,

и, запыхавшись, говорил все ту же фразу, изменив только обращение:

— Ваше превосходительство, обратите ваше внимание на великолепный вид, открывающийся отсюда.

И в самом деле, вид с Дозора великолепен. Город внизу, улицы прямые, кажутся чистыми. Церкви, дома, деревья, река, зеленое заречье, лодки на реке, как водяные букашки. Белое огромное здание женской гимназии красивым пятном маячит на бугре, на краю города.

Долмат Спиридонович уверял всех:

— Был на Кавказе, был я на Урале, но таких красивых пейзажей не видал. Обратите внимание.

Но верхушка Дозора была голая — рыжая земля да камни, и Долмат Спиридонович всегда с печалью заканчивал:

— Об одном я сожалею, что эта верхушка лишена растительности. Теперь мечта моей жизни насадить здесь деревца.

И всякий раз после летнего перерыва Долмат Спиридонович в первом же заседании думы ставил на повестку вопрос:

„О засаждении деревцами вершины горы „Дозора".

Он сам докладывал об этом. Он говорил о культуре, красоте, гордости, — и это бывал самый трогательный доклад в думе. Но гласные, — купцы, богатые мещане, — смеялись и говорили ему с уездной грубой прямотой:

— Ты, Долмат Спиридонович, это брось. Все равно лес тебе бесполезен. Хошь в лесу, хошь на голом месте ты одинаково до точки не дойдешь. Силы у тебя от лесу не прибавится, а у нас денег убавится. А девки твои и без деревцев хороши будут.

И после месяц целый смеялся весь город над докладом.

Но год, еще год, еще. Добился Долмат Спиридонович: разрешила дума посадить деревца.

Зеленеет Дозор, шапкой лохматится, елочки, липы, березки качаются под высоким широкогрудым ветром. На самой верхушке — каменные лавочки, а сбоку чуть внизу, шалашик — сторож живет там, чтобы козы, люди и коровы не ломали молодых деревьев. Умер Долмат Спиридонович, а парк на Дозоре — вот он, вот зеленеет. И еще: в городе, когда видят влюбленную пару, говорят:

— Эге, на Дозор собрались.

Помнят Долмата Спиридоныча.

В тот пасхальный день на каменной скамье сидели трое: Павел Зубов, Каменщиков, а третий отдельно, на самом конце скамьи. Все в легких пальто, чуть поеживаясь от весеннего, здесь, на вершине, еще холодного ветра. Каменщиков, возмущаясь, говорил:

— Ты брось, Павел. Вы одиноки, вы ничего не сделаете. Посмотри, как инертна жизнь. Массы всегда будут в стороне от вас, революционеров. Вы не сдвинете их.

— Не только сдвинем, мы победим!

— Вас мало. Кто теперь думает в нашем городе о революции? Никто.

— С нами правда!

— Значит, не в силе бог, а в правде? Но это старо и отменено.

— Да, нас мало. Но ты забыл, что маленькая Англия держит в руках большую Индию. Один железный человек стоит миллиона глиняных.

— Это что же? Расчет на сверхчеловека?

— Да, если хочешь, расчет. И пожалуйста, не пугай словами.

— Вообще, по-моему, ты, Павел, начинаешь изображать Марка Волохова. Это тоже скучно.

Внизу, в городе, все звонили — по пасхальному. Черными букашками казались люди. Их много. Они ползли торжественно, радуясь пасхальному звону и солнышку. Каменщиков злобно засмеялся:

— С таким народом революцию делать? Рай на земле строить? Ха! Надо же знать границы возможностей. И себя и других не обманывать. Вот возьми религию. Давно уже выдохлось все, а попробуй, победи. Зубы обломаешь. Нет, брат, революция не поможет. Человек такой зверь, что его труднее других зверей перевоспитать.

Третий — в помятой студенческой фуражке — повернул к Каменщикову курносое лицо и сказал:

— Сами-то вы оба звери, — вот и кажется вам, что люди звери.

Каменщиков махнул рукой.

— Ну, ты понесешь чепуху!

— Какую чепуху? Ты тоже хорош гусь. Если Пашка не прав, то ты не прав десять раз. У Пашки хоть фальшивые идеи есть, а у тебя в душе совсем ветер свищет. Нуль. Если хочешь знать, единственная ценность в мире — человек. И все должно быть ради него. А вы о человеке судите, как о свинье.

— Но какой человек?

— Всякий.

— Дурак-Ивака тоже единственная в мире ценность?

— Конечно.

— Избранный сосуд?

— Если хочешь.

Каменщиков рассердился.

— Если хочешь? Да, хочу смеяться. Ты дурак с твоими оценками.

Павел нехотя слушал их перебранку. Курганов уже горячился.

— Есть дураки, которые мечтают о спасительной революции — через убийства, через кровь — только бы к революции...

„Это обо мне“.

— Да. И забывают, что в мире уже было сто сорок шесть революций — вот только во времена исторические — и эти революции ничем не кончались. Каждая революция — круг, и всегда возвращается к исходной точке.

— Ну, это положим. Я, как историк, могу сказать тебе, что революция всегда дает плоды, даже самая плохонькая революция, и никогда реставрация не доходит до той точки, из которой вышла революция.

— Не доходит, это верно. Потому что за время революции люди все-таки подвинутся... Э, что там. Все фальшь. И вы оба фальшивые гривенники. Почему любовь к дальнему вам милее любви к ближнему? Может быть, дальний будет негодяем? В такой любви — фальшь. Люби человека, каков он есть. Затылок его люби, пятки его люби, запах его потных ладоней люби.

Каменщиков лениво повернул голову.

— Подожди ты. А в чем смысл вот в этой жизни (он показал вниз на город) глупой, обидной, злой?.. Ведь злой иногда, ты согласен?

— Да, это ты, пожалуй, прав. Иногда бывает зла. Но смысл есть в жизни. Я уверен. Вот живут, — много их. Печники, чиновники, штукатуры, мужики, — тысячи. Родятся, как мухи, мрут, словно трава. Для чего бы? Но вот — когда-то в их роду будет один человек — один может быть в три столетия, один на десятки тысяч родственников — один придет настоящий, в котором соединятся все

стремления рода, вся сила. Это колокол, который род поднимает изо всех сил. Род, — сам того не сознавая, — дает этому человеку здоровое сердце, сильный ум, волю, — и человек ищет новые пути, пробивает стены... Богатырь, одним словом — писатель, ученый, художник, строитель необыкновенный. Вот.

— Э, брось. Это романтика. Живут, как мухи, ничего не сознавая. Никакого смысла.

— Слаб ум, — не может понять, потому и кажется, что смысла нет. Смысл есть, — и надо жить, жить крепко, с верой исполнять то дело, к которому приставлен...

VIII

Вечером пришла тетушка Марианна и, по обыкновению, закричала еще в передней:

— Дома что ли наш Дон-Кихот? А ну, где он? Подайте мне его?

И тотчас зашла в комнату Павла и зашептала тревожным шопотом, глядя прямо в лицо Павлу немигающими круглыми глазами.

— Ты что же? Вчера еще приехала, вечером. Ступай сейчас же!

Павел встал тотчас, встревоженный, и, как был в рубашке с отложным воротником, вышел в переднюю, чтобы надеть пальто и итти. Тетка бросилась за ним.

— Куда ты? В таком виде? Ах, арестант!

И заставила вернуться, надеть новый костюм.

В передней у Дьяконовых, глянув на себя в зеркало, он увидел синелицего мертвеца, одетого по последней моде. Только глаза у мертвеца горели ярко.

Тревога и неловкость сжали голову, связали руки. „Надо бы проще одеться“.

Его услышали: Анна Владимировна сама вышла в переднюю и закричала:

— Вот он, вот он!..

И повела за собой. В столовой, у стола с кипящим самоваром, сидела Ольга... Да, да, Ольга. Она смотрела очень серьезно и тревожно, и у ней дрожали губы, точно она хотела заплакать. Но сдержалась. И уже как-то по особенному развязно-холодно и будто приветливо — поднялась навстречу.

— А-а, Павел Андреевич!

Павел посмотрел на нее испуганно. „Это мне?"

— Как здоровы? Давно ли приехали?

Приветливостью, голосом, движением она хотела что-то закрыть — это ясно, — закрыть от чьих-то глаз.

— Знакомьтесь, господа, — это Владимир Александрович.

Из-за самовара на Павла смотрело лицо — бледное, красивое и холеное. Черные волосы — туго причесанные, точно приклеенные, лежали точным пробором. Владимир Александрович поднялся вежливо, изогнулся в ловком поклоне, и на Павла от него пахнуло тонкими духами. Анна Владимировна не смотрела на них, здоровающихся. Дрожь в руках и коленях прекратилась, точно вежливый, гладко причесанный Владимир Александрович сразу стал врагом, перед которым надо собрать все силы. Ольга певуче и, как показалось Павлу, напряженно и фальшиво сказала:

— Пять лет не виделись. Сколько воды утекло!

„Пять лет? А кто в тюрьму приезжал?"

Павел только подумал, но не сказал.

Гладкие, любезные фразы, — так говорят только со знакомыми. А Павлу казалось: будут говорить при встрече как-то по особенному, словно ворочать огненными горами. Пристальные, испытующие

глаза Владимира Александровича смотрели на Павла, изучали, и в них Павел чувствовал ревность. Разговор неловко вскипал и обрывался, — надо всеми висело что-то непонятное. Павел спросил хрипло:

— Когда приехали?

Хрипло потому, что в горле пересохло от волнения.

— Вчера еще. Ужасно устала.

И повернулась боком, и Павел увидел белые пятна пудры на ее носу. Стало еще холоднее. И модная жилетка теперь давила, как панцырь. Вежливый Владимир Александрович сказал:

— Я всячески оберегал покой Олечки, но невозможно, столько народу.

„А-а, Олечки? Вместе ехали?“...

Павел сидел насупившись, и перед ним стыл недопитый стакан. Олечка, Анна Владимировна, Владимир Александрович говорили громко, весело, но — для себя, или, может быть, громкими голосами хотели прогнать неловкость и заглушить тревогу. Павел поднялся и глухо сказал:

— До свидания.

— Уже? — спросила Ольга.

И в голосе у ней мелькнула радость. „Что же случилось? Что?“ — мучительно думал Павел, пожимая руки вежливому Владимиру Александровичу и Анне Владимировне. Он двигался, как связанный, и отяжелевшие ноги прилипали к полу.

— Я вас провожу,— сказала Ольга.

Когда вышли в переднюю, она притворила за собой дверь, торопливо вынула из кармана письмо, протянула Павлу и сказала тихо:

— Возьмите, я сегодня утром написала, но не успела послать.

И громко добавила:

— До свидания, Павел Андреевич.

И, крепко пожимая Павлу руку, прошептала:

— Простите меня.

Весь взвихренный добежал Павел домой. Скорей, скорей... Что такое?.. В своей комнате он торопливо разорвал конверт.

„Павел Андреевич, милый! Простите меня, если можете. Простите и забудьте. Я любила вас, ждала, но, вероятно, я слабая, обыкновенная женщина, я потеряла надежду, что мы когда-нибудь встретимся, и я полюбила другого. Все между нами кончено, Павел Андреевич,— я буду женой другого. Мне страшен и неприятен стал тот путь, на который вы меня звали. Смотрите, революция разбита, и никто о ней не думает“...

Павел, недочитав письмо, нервно смял его, задохнулся, шагнул по комнате раз, другой, и швырнул письмо в угол. И поспешно начал срывать с себя пиджак, жилетку, воротничок и модные брюки, точно они были цепями.

IX

Точно с разбега ночью что есть силы лбом удариться в столб. Вот так было с Павлом. Какая боль! Весь тот вечер до полуночи, и за полночь, в белье одном Павел лежал на разубранной кровати, на белом кружевном покрывале, грудью вниз, пластом. К нему стучала Глаша:

— Павел Андреевич, пожалуйте чай пить.

— Не хочу.

И еще после:

— Павел Андреевич, позвольте приготовить постель.

— Сам приготовлю.

Должно быть, там, в дальних комнатах, эти ответы были переданы, из-за двери Андрей Петрович спросил:

— Павлуша, ты не болен?

— Я здоров. Извини, папа, я занят.

— Ты бы чаю выпил.

— Не хочу.

И было слышно, как отец нерешительно пошел от двери.

„Разве в самом деле выпить чаю, если... если нет счастья? Ха-ха! Вот переломилась жизнь. Не угодно ли чайку?“

Голова стала пудовая и повернуть ее трудно. Павел глухо застонал от боли, и правая рука беспомощно, плетью свисала с кровати. Как ясно было все! Он, Павел Зубов, выходит из тюрьмы, женится на Ольге, отбывает надзор, потом... потом Москва, подготовка к новой революции (она придет, эта новая революция!).

И вдруг с разбегу... „Я буду женой другого. Никто о революции не думает“.

Это после многих лет любви — самой трогательной, потому что их любовь была первой. „Я буду женой другого“.

Он не зажигал лампу. Он винтом перевертывался на кровати, комкая кружевное покрывало. Свет от луны едва брезжил за окном. Где-то пропели петухи. Павел тихонько оделся — в свое, потертое — и вышел, в темноте нащупывая двери. В кухне сонный голос сказал:

— Опять к хахалю пошла? И-и, греховодница, гляди, брюхо наживешь.

„Кому это?“

Он тихонько открыл дверь на черное крыльцо. На ступеньках, плотно прижавшись один к другому, сидели Глаша и кучер Антон. Они испуганно

смотрели на Павла, пока он спускался с крыльца, и лица у них у обоих были бледные, освещенные слабым светом фонаря. Они точно оцепенели от удивления, не сказали ни слова и даже не отодвинулись друг от друга.

Павел прошел через сад, через пустой больничный двор и воротами вышел на улицу. У ворот стоял сторож, закутанный в тулуп. Далеко на каланче пожарный колотил в звонкую колотушку. Павел повернул за угол, и еще за угол.

„Разумеется, она права. Что можешь дать ты? Два года жизни здесь, — в этой уездной яме, — это уже подвиг... С первого месяца пожалуйте в тюрьму!“

Он смеялся отрывисто, разговаривал сам с собой. И назло, точно желая разбередить еще больше рану, прошел по Садовой, мимо их дома, постоял в темноте на противоположной стороне улицы. За гардиной и цветами в переднем углу залы светилась красноватая лампада, — неугасимая, пасхальная. Павел знал: вот это крайнее окно — спальня Ольги. Да, вероятно, спальня, как бывало. Сколько раз он, проводив Ольгу, ждал вот здесь же, вот, может быть, на этом самом месте, — ждал, не мелькнет ли тень на плотной белой занавеске. „Я буду женой другого“. Он криво усмехнулся. „Разве, побить окна?“ Он злобно засмеялся. Он представил: звон стекол, крики, испуг.

„Это хорошо. Так устраивают отверженные женихи“.

Ядовито посмеиваясь над собой, он пошел вниз, под гору, к реке. „Отвергнутый жених!“ В пустых улицах шаги звучали гулко. Он вышел на берег. От реки тянуло холодом. Темная вода шумела и билась о камни. „Может быть, лучше утопиться, товарищ отвергнутый жених?“ — „Ты

смеешься?“—„Да, смеюсь“.— „Над собой?“—„А ха-ха, Россия. Русский человек всегда подсмеивается над собой“.

Он сел на камень. В темноте вода неслась с глухим ворчанием.

„Что же теперь? Новые пути? Новые цели?“ В церквах печально и протяжно зазвонили часы. Сначала в одной,— близко от берега, потом в другой,— дальше и глуше,— и потом еще дальше. Три часа. Протяжный звон заставил подумать, что жизнь уходит. „Что же теперь?“ Сидеть на камне было холодно, но Павел словно не замечал, почему ему холодно, бессознательно запахивая полы пальто. „Что же теперь?“ Потом поднялся и, спотыкаясь о камни, пошел назад в город. „Разве только в Ольге вся жизнь?“

Уже солнышко всходило, когда он, выйдя из города, пошел к горам. Вся земля курилась тонким паром. Теплый молодой ветер дул с дальних полей. Треугольники журавлиных стай высоко летели и кричали звонко и призывно. И вся земля точно возносила фимиам горячему солнышку. Павел долго смотрел на город, что внизу, на дальние поля, реку и заречье. „О революции никто не думает. Может быть, правда, никто не думает?“

Маленькие черные козявки — люди — бродили по улицам, казавшимся отсюда широкими, красивыми. „Что ж, думают ли они, эти козявки, о революции?“

Вернулся он домой только перед полднем. По тревожным лицам Кати, Глаши, Клавдии Васильевны он понял, что его искали. Клавдия Васильевна при нем сказала Глаше:

— Подите, Глаша, скажите Андрею Петровичу, что Павел Андреич вернулся.

И через пять минут отец пришел — в белом больничном халате и в колпаке — и еще с порога комнаты крикнул:

— Где ты пропадал? А я уже послал на розыски Антона.

Вечером приезжала тетка. Павел не хотел ее пустить в комнату, притворился спящим, но тетка так настойчиво и долго барабанила в дверь, что пришлось отпереть.

— Ты это что, отец мой? Пустить не желаешь?— заворчала она, входя.— Так нельзя, люди свои. Ну-ка, говори, чем кончилось? Неужели отказала? А-а, я так и знала! Ну, не подлая девченка? И на что польстилась. На модные брюки да на прямой пробор. Да хоть бы человека выбрала с хорошей фамилией. А то — Чебуркин. Сказать такую фамилию — убежишь за версту. Мадам Чебуркина. Дура! Прямо так и скажу ей при встрече: дура!

И понизила голос:

— Говорила я тебе, брось дурака валять,— революциями заниматься. Вот и доехал. Девку-то какую упустил. Эх ты!

— Перестаньте, тетя.

— Чего там перестаньте? Ну, чего перестать?— Подумай-ка ты теперь о себе. Виски седые, а сам...

Тетка вдруг заплакала. Лицо у ней сморщилось и побагровело, и слезы полились из глаз.

— По... подумай ты о... о себе, сиротинка ты моя.

Она протянула к нему руки. Павлу стало и больно и совестно, и, чтобы скрыть волнение, может быть, слезы, он сурово сказал:

— Будет, тетя. Довольно. Я не хочу и слышать таких сожалений.

У тетки широко открылись глаза.

— Не хочешь? Ага! Как был каменный, так и остался? На голове хоть кол теши. Эх ты...

Она поднялась.

— Ну что ж, правильно говорится: тупо сковано — не наточишь, глупо рожено — не научишь. И болтать напрасно нечего.

Она пошла было к дверям, но вернулась и опять села против Павла.

— Что ж ты будешь делать теперь? Революции готовить?

Павел усмехнулся.

— Да, революции готовить.

— Что ж, готовь, одним дураком в городе прибавится. Видал, сколько дураков-то у нас? Ну вот еще будет дурак — Пашенька Зубов. Куды хорошо!

И поднялась решительно. И хлопнула дверью. Павел опять лег на диван.

X

„Что же в самом деле, правы ли они — отец, тетка, Каменщиков? Нет, нет. Один против всех? Да. Вот пойду и буду смотреть. И пусть все смотрят... на меня, отвергнутого жениха. Ни о чем не жалею“.

Вечер был синий, тихий, и пахло молодой листвой. На Караванной улице встретился свадебный поезд — украшенные лентами и цветами лошади, экипажи, дуги. А в экипажах девушки в белых платьях. Бабы и девченки гурьбой торопились к церкви смотреть на венчание.

Возле паперти было много экипажей. У извозчиков на груди ярчели букеты цветов. У всех правые руки выше локтя украшены розовыми лентами. Экипажи под‘езжали, и толпа, забывая все, что около нее, несмигаючи смотрела навстречу приехавшим. Павел за спинами толпы незаметно поднялся на паперть и быстро вошел в церковь.

Горело паникадило. Кто-то вбежал в церковь и крикнул испуганно:

— Невеста приехала!

Певчие грянули во всю мочь:

„Гряди от Ливона, невеста. Гряди, возлюбленная!“

Толпа задвигалась. В широко открытые двери вошла Ольга Дьяконова под фатой, украшенной цветами, в белом платье. Она шла, опустив глаза в землю, и ресницы бросали тень на ее побледневшие щеки. Священник взял за руки жениха (Чебуркина!), подвел к невесте, покрыл их руки епитрахилью и повел к аналою.

„Может быть, не надо никаких революций, — а жизнь отдать вот этой белой, прекрасной, — склониться покорно на колени перед ней и сказать: „Возьми?!“

Уж венцы зазолотели над головами. Толпа плотным кольцом окружила аналой, жениха и невесту.

Павел стоял у колонны, смотрел через головы. Ольга крестилась, кланялась. Вот их повели вокруг аналоя, и хор запел веселым маршем: „Исаия, ликуй“...

Павел вышел из церкви. Совсем уже темно.

„Ну что ж, поплачь. А если слез нет? Помнишь в тюрьме:

И никто не видааааал,
Как я в церкви стояааал,
Прислонившись к стенеееееее
Безутешно рыдааааал.

Арестанты любят сентиментальное. Не плачут сами никогда. А вот это любят:

Безутешно рыдааааал...

„Ну, а ты?..“

Поздно уже, за полночь, Павел прошел мимо дома Дьяконовых. Дом светился огнями, гремел музыкой и топотом танцующих. Павел долго стоял под окнами. Танцевал Каменщиков, Ванька Смирнов, — с каким увлечением.

„А где же жених и невеста?“

Он подымался на цыпочки, чтобы лучше видеть. Их не было. И вдруг нож полоснул сердце. И внутри все сжалось и похолодело. Он представил, как там, где-то, в этих комнатах, целуются молодые супруги Чебуркины...

„Если бы найти рожу... хоть какую-нибудь рожу“...

Он побежал от окон дерзкий и безумный, из улицы в улицу, готовый броситься на первую женщину. И вдруг опомнился.

„Я с ума схожу? Домой!“

И заставил себя итти домой.

Он позвонил резко. Заспанный голос из-за двери спросил:

— Кто там?

— Я. Отворите, Глаша.

Глаша отворила. Свет от фонаря, что у крыльца, осветил ее. У ней были спутаны волосы, а рубашка спустилась с плеча,— полного, белого, как мел.

„Вот“.

Он шагнул. Глаша затворила дверь, стала запирать. Павел стоял возле, весь, как зверь, насторожившийся, слушая, не проснулись ли в комнатах. Глаша заперла, пошла в темноте из передней. Павел протянул руки к ней. Память подсказала: широкий сундук здесь, вот. Глаша шептала испуганно:

— Что вы?.. Что вы... Па... Павел Андреич... А-а... Не... не надо...

И никто не видааааааал,
Как я в церкви стояааал.

XI

— Из уважения к вашему батюшке Андрей Петровичу, а также из уважения к вашей тетушке Марианне Петровне я разрешаю вам, молодой человек, являться в наше правление не каждую неделю, а раз в месяц. Примерно, первого числа. Поняли? Из уважения к вашему батюшке.

У полицеймейстера голова была маленькая, волосы седые, ежиком, щеки морщинами исхлестаны, дубленая желтая кожа на них оттягивалась лохмотами. А глаза глядели строго, почти сердито.

— И надеюсь, вы оправдаете наше доверие. Чтобы никакой политики. В противном случае я приму свои меры.

Полицеймейстер стоял у стола, как столб в синем сюртуке, обсыпанном на груди табачным дымом.

— Да-с, молодой человек, никакой политики! Можете итти.

От обиды Павел плохо различал людей, двери. Да, это не тюрьма. В тюрьме вольнее,— там можно кричать, протестовать, пусть посадят в карцер. Здесь — ни пикни. „Из уважения к вашему батюшке“.

Он вышел на улицу. Городовые, нависая один другому на плечи, смотрели в окна на него и смеялись.

Улица с полуподрезанными лысыми тополями, облупившиеся фасады домов, криво одетые

ленивые люди, — каким красивым и милым все это казалось там, в тюрьме, и как убого теперь и возмутительно.

Он пошел к реке.

Аптека с двуглавым орлом над крыльцом, гробовая лавка с черными гробами на окнах, серое длинное здание управы, возле управы — скучающий городовой, за управой амбар с солью, базар с удушливым запахом воблы и сырого мяса и рядом бульвар с тощими об‘еденными деревцами. Про этот бульвар когда-то реалисты пели стишки:

„Это — пародия бульвара:
Он скорей бросает в жар,
Чем бы защищать от жара“.

И здесь надо прожить два года — с этим бульваром, управой, людьми.

Дома, в обед, Павел, ни на кого не глядя, рассказал, что было с ним в полиции. Андрей Петрович рассмеялся:

— Ух, и лисица этот Сергей Евмёныч. Теперь то и дело будет звать меня к жене и к детям, а платить не будет. Но это чорт с ним. Ты, Паша, в самом деле, удержись. А то как бы неприятности не было.

И первый раз Павел посмотрел на отца с ненавистью.

Он ушел из дома тотчас после обеда, ушел на большую дорогу, за сады, и там лег в траву. Ему еще нравились эти белые, сплошь в цвету сады, эта трава, свежая, холодная, мягкая. Они успокаивали. Ветер принес с дороги обрывок бумаги. Обрывок прыгал, цеплялся за прошлогодние бустылы, на момент уцепился за камешек возле лица, и Павел прочел: муссоны.

„Что такое? Мус-со-ны?“

Павел напряг всю память. Вот где-то рядом, вот близкое слово, вспомнить и сказать. Муссоны? Он испуганно сел. Все в нем напряглось. Что же такое, чорт возьми, муссоны?

Разорванная память не подсказала. Он тихонько, в полном отчаянии лег на траву. Тюрьма, пять лет вынужденного беспорядочного безделья, и вот смерть уже стучится,— собачья старость — угасание памяти в двадцать пять лет. Муссоны! Муссоны!

„На что ты годен?"

По дороге ехали мужики и ругались. Потом пьяно пели песни. И опять ругались. „С таким народом революцию делать? Рай на земле строить? В самом деле, я, может быть, не знаю границ и обманываю себя и других?"

Мужики едут — пусть ругаются, пусть пьяны, но едут: цель есть. Солнце передвинулось, тени передвинулись, трава растет, ветер дует. Что ж такое муссоны?

Дома была тетка.

— Ну-ну, расскажи, что тебе пел Кот Котофеич? А-а, негодный. „Из уважения к Марианне Петровне?" Не забывает мое варенье. Ну что ж, и то хлеб. Да что с тобой?

— Тетя, что такое муссоны?

Глаза у тетки округлились, рот округлился.

— А я знаю, батюшка мой? Нашел у кого спросить.

Андрей Петрович, пережевывая кусок рыбы, поднял глаза к потолку. Павел сердито смотрел на него. Андрей Петрович жевал, жевал, а все смотрели на него молча, ждали.

— Му... муссоны... это... такие... камни...

Он еще пожевал, и, кладя вилку на стол, сказал:

— А впрочем, я не знаю.

Клавдия Васильевна, улыбаясь, прятала лицо за самовар. Тетушка кричала:

— Да зачем это тебе знать, Павлик? Чепуха какая-нибудь. А, может быть, это и неприлично? Вот Зинка придет сейчас, может быть, она знает. Глаша, позови-ка Зиночку.

„Камни? А сами вы не камни ли?"

Зина на момент сделала очень серьезное лицо.

— Муссоны, мама? Это ветры такие, по географии.

„А-а! Верно! Ветры!"

Теперь он вспомнил.

— Ну, ты можешь успокоиться. Ветры. А в благодарность за хороший ответ, иди-ка погуляй с Зиной в Сапожников сад. Вот, Зина, тебе спутник. Одну я тебя не пущу, так и знай.

Закричали все, когда Павел хотел пойти в том, в чем был одет. И тетушка больше всех.

— Разве можно? Там теперь весь город, а ты в таком виде. Или одеть нечего?

И Зина оглядела быстро и подозрительно Павла, когда он вышел в гостиную одетый в новый модный (и гнусный) пиджак с обрезанными полукругами полами. Тетка ворчала:

— Положительно нет сладу с нынешней молодежью. Что хотят, то и делают. Встречаю вчера Анну Владимировну. „Это как же?"—спрашиваю.— „Да что же, говорит, делать, сама выбрала, сама не маленькая". — „Да ведь, говорю, Че-бур-кин. Подумайте: Че-бур-кин. Из-за одной фамилии повеситься можно". — „Ей жить, ей и фамилию носить". Вот и весь у бабы сказ. Не-ет! Я бы вмешалась. Чтобы у меня зять, да с такой фамилией? Никогда.

Андрей Петрович крикнул:

— Зина, смотри, выбирай жениха с хорошей фамилией.

— Зубова променять на Чебуркина,— возмущалась тетка.— Зубов — это звучит, как граф Зубов. Однажды на пароходе какой-то офицерик спрашивает меня: „Вы не графиня Зубова?“ „Да, говорю, я графиня Зубова“. Так он дня три передо мной ковром расстилался. Вот это я понимаю. А то Чебуркин! Тьфу!

Улицы были по-вечернему тихие, и народ, отдыхая, сидел на лавочках у калиток. Тонкие запахи сирени тянулись по улице. Ребятишки играли на углу,— их резкие крики слышны были за два квартала. Собаки мирно лежали на дорогах. Где-то далеко тарахтела телега.

Зина взяла Павла под руку. Они шли быстро, в такт.

— Пойдем скорее. Меня ждут. Эта мама — ужасный человек, никогда не пустит одну.

— Ждут? Кто?

Зина засмеялась.

— Ишь какой любопытный? А тебе зачем?

Бабы у ворот смолкали, когда они проходили,— и смотрели им вслед долго,— и в глазах было непомерное, до глупости, до испуга любопытство. И Павел слышал сзади шопот:

— Чей такой? Чей такой?

Он был рад полутьме: в полутьме не видно было его куцего пиджака с круглыми полами.

— А ты интересный, странный. Все подруги у меня спрашивают, какой ты из себя. Знаешь, многие тебя помнят, как ты бывало танцевал. Мы тогда были маленькие.

— Что ж теперь твои подруги делают?

— А ничего не делают. Три подруги на курсах, две пошли в учительницы. А больше так... дома.

— Но что ж делают?
— Да ничего.
— Ну читают, пишут?
— И читают, и пишут, конечно, а больше так.
— Женихов ждут?
— Ах, какой ты насмешник.

Они повернули за угол. Девицы в белых платьях шли стайками. Почтовые и казначейские чиновники, приказчики, — все с тростями — шли к саду. Гурьбой валили реалисты и гимназисты. Из сада слышалась музыка — вальс.

— А-ах, мой любимый вальс, — простонала Зина, — та-та-ра-та-ра... Ты любишь танцевать?

Их торопливо перегнал высокий волосатый человек в широкополой шляпе, в венгерке с белыми пуговицами в виде шариков, в высоких лакированных сапогах. Зина зашептала испуганно:

— Гляди, это анархист идет, помещик Завулонов. Ни бога, ни чорта не признает. Его нигде не принимают. Дурак такой, аж пальчики оближешь.

Под музыку парами ходили по саду девицы в белом, девицы в черном, девицы в голубом и молодые люди — все сплошь в черном. Анархист Завулонов прошел один — высоко подняв голову, ни на кого не глядя, — выступал, как журавль, важный и гордый, и по гордой походке было видно, что он в самом деле дурак. Зина сказала:

— Давай сядем вот под этим вязом. Отсюда всех увидим.

Они сели. Белобрысый молодой человек в учительской форме сладко улыбнулся и, сняв фуражку, поклонился Зине и целую минуту шел так со снятой, поднятой перед лицом фуражкой, сладко кивая головой и топая ножками в ярко начищенных ботинках, под музыку, точно картонный паяц.

— Это учитель из городского. Черноусов. Влюблен в меня,— пояснила Зина.

Прошли два студента, — в полном сиянии студенческих тужурок и синих штанов. Они манерно раскланялись с Зиной и потом, пройдя, долго оглядывались на нее через плечи и головы толпы.

— Это Микулин и Задворнов. Оба влюблены в меня.

Девицы все были, как одна, в лентах и кружевах, с кружевными зонтами, хотя была уже ночь, и шляпы на их головах казались воздушными облаками. Они мелодично кричали:

— Зина, здравствуй!

— Зиночка, здравствуй! Почему не зайдешь ко мне?

А музыка играла, томно и сладостно, вот рядом за деревьями. Крепко пахло сиренью и черемухой. Улыбки и платья, крутые груди и бока, — у Павла что-то задрожало под ложечкой.

Музыка смолкла, гуляющие расселись по зеленым скамейкам. И тут стало слышно, как на краю сада печально и зловеще каркало воронье.

Зина показала глазами на девушку в розовом платье.

— Посмотри, вон сидит Таня Ларина. Видишь?

Павел вздрогнул. „Таня Ларина? Неужели? Да, да!“

— Ах, я бы хотела быть Таней Лариной. Какое поэтическое сочетание имени и фамилии, — шептала Зина.

Да, да. Таня Ларина. Павел знал ее. Это она, десять лет назад выйдя из гимназии, все выбирала женихов. Не хотелось ей, Тане Лариной, выходить ни за Синичкина, ни за Брюханова, ни за Чернова, — хоть и хорошие женихи, но с такими обыденными фамилиями. Ждала Евгения

Онегина, — и теперь вот уже стареющая, — сидит, ждет... кружевным зонтом ковыряет песок. Бывало с почтительностью смотрел Павел на красавицу.

Опять заиграла музыка. И пошли пары, пары. Зина смотрела напряженно, ждала. Черненький юнец, с гладко причесанными волосами, вдруг предстал, поднял над головой фуражку, растопырил руки и крикнул:

— Зинаида Семеновна, вы обещали!

Павлу показалось: он пьян. Или улыбка у него пьяная? Зина поспешно встала.

— Прощай. Не говори маме.

И поспешно ушла. Юнец оглянулся на Павла.

Идут. Под музыку. Парами. Павел закрыл глаза. Сколько он помнит, вот так же шли, шли, шли в уродливых платьях, сделанных совсем по парижской моде — уездной.

„Муссоны. Камни“.

И Таня Ларина пошла. Утомленно пошла, отяжелевшая, грустная. Что-то резкое было в ее уже вычеканенных чертах лица, и на шее у ней виднелись складки.

Он представил, как она все эти десять лет каждый вечер ходила здесь, ждала, грустила. И у него сжалось сердце. „Тоже тюрьма“.

Но музыка звала. Девицы щебетали, казались прекрасными и будто у каждой была тайна...

Он вспомнил Ольгу.

„От Ольги до Глаши“.

И, точно повез себя, пошел домой. Глаша отворила дверь — только шаль была накинута у ней на плечи. Павел, проклиная кого-то, обнял ее. Она прошептала:

— Я приду к вам.

И час спустя, она говорила:

— Вы бы мне подарили что-нибудь, Павел Андреевич. Антон и то мне дарит, а вы нет. Уже четыре ночи прошло, а вы никакого подарка мне.

Павел, сраженный, не спал всю ночь. На рассвете пронзительно завизжал в комнатах звонок, и кто-то забарабанил в окно.

Павел отодвинул гардину. У парадной двери стояла тетка. Павел поспешно стал одеваться. Он вышел в переднюю. Тетка уже входила, а Глаша — в одной рубашке — запирала за ней дверь.

Тетка бросилась к Павлу. Лицо у нее было сизое.

— Где Зинка?

— Я не знаю.

Тетка хватнула воздух ртом и заревела:

— Ах ты, злодей, злодей!

И вдруг, отстранив Павла, бросилась через гостиную к двери спальни Андрея Петровича и застучала в дверь кулаком.

— Андрей! Андрюша! Андрей! — закричала она.

— Что случилось?

Андрей Петрович вышел в халате.

— Зинки-то нет ведь. Ах, боже мой, что же это? Что я буду делать? Осрамила. Сокрушила мои старые годы. И этот негодяй (она пальцем указала на Павла) — просила, проводи, но верни, верни ее домой. А он...

— Да где же она?

— Опять, должно быть, на песках с молодыми людьми купается. Ну скажи мне, что я буду с ней делать? Неужели у тебя нет капель?

— Каких капель?

— Капель, чтобы она не бесилась? Для успокоения крови.

Она задыхалась, дышала шумно, двигалась быстро.

— Капель! Капель!

И вдруг заплакала, села на диван. И сквозь рыдания заговорила будто сама с собой:

— Конечно, жирненькая, сытенькая... разные мысли в голову лезут...

Андрей Петрович сердито сказал:

— Нет у меня таких капель.

— А-а, медики, чорт бы вас взял. Коль разжечь страсть, так на это у вас капли есть, бобровую струю какую-то изобретают, а смирить страсть — так этого нет...

Она плакала и кричала:

— Осрамила мою старость!

И, спохватившись, решительно встала:

— К полицеймейстеру пойду. Через полицию искать буду.

Она торопливо пошла к двери. Андрей Петрович схватил ее за руку.

— Подожди. Не сходи с ума. Вернется.

— Когда вернется?

— Все равно, когда-нибудь вернется. Если теперь что случилось, уже случилось и не воротишь. Молчать надо, чтобы лишней огласки не было.

Оба они стояли — красные, жирные, с трясущимися щеками — кричали один на другого. Из двери спальни высунулась голова Клавдии Васильевны. Она смеялась молча. Из другой двери выглядывала Глаша и тоже смеялась. И Павел засмеялся. Сам того не сознавая, он смеялся ядовитым хихикающим смехом. „Хи-хи-хи“. Оглядывался на Клавдию Васильевну, точно звал ее в свидетели, и смеялся. Оглядывался и на Глашу — и ее звал в свидетели — и смеялся. Смеялся над отцом и теткой. — „Глядите, какие они глупые“.

Отец повернулся к нему, глянул сердито.

— Ты что? Павел, что ты?

Тетка негодующе махала руками, кричала:

— Смеешься? Прохвост ты. Негодяй!

А Павел смеялся неудержимо. Он видел, как перестали улыбаться Клавдия Васильевна и Глаша, отец смотрел на него серьезно, молча, только тетка охала и ругалась. Вот и тетка удивленно глянула, и рот у нее открылся, округлел.

— Что с тобой, Павел?

— Хи-хи-хи.

— Да замолчи ты, идиот! — закричала тетка.

— Хи-хи-хи.

Отец взял Павла за руку. Тут Павел, перегибаясь от смеха, сказал:

— Пульс... хи-хи-хи... нормальный... Дай, папа, капель от любви... Хи-хи-хи...

— Павел! Павел!

— От любви, папа, капель.

Ему совали к губам стакан воды. И Павел спрашивал:

— Это капли? От любви?

И опять смеялся, перегибаясь. И смеялись стены с ним и качались в смехе.

— Капель! Капель от любви!..

XII

„Отец? Зачем он здесь?“

Павел с трудом повернул голову. В комнате стоял дым. Стена против кровати и потолок виднелись неясно.

— Почему... дым?

Голос был чужой, далекий, еле слышный. Но отец быстро поднялся со стула, наклонился к самому лицу.

— Очнулся? А-та-та. На-ка, выпей.

Он засуетился, в ложке что-то подал к самым губам — одной рукой подавал, а другой поднимал голову с подушкой вместе.

Павел хотел подняться сам и не мог, — не было сил. Он выпил, закашлялся. Опять все поплыло мимо глаз и скрылось. Над бровями стало больно... Это розовое... это видение. Он протянул руку. Теплое, нежное, мягкое. И странный смех. И чьи-то веселые глаза. Смотреть не хотелось, — только обнимать, ощущать. Он поднялся на локте и лицом — да, да, вот лицом — уперся в мягкое, розовое, теплое. Он почувствовал, как чьи-то руки обняли его за голову, и голос над ухом зашептал:

— Что? Милый, что?

Голос странно знакомый. „Кто? Ольга? А-а-а, Ольга“...

— Оля, милая...

— Да нет, я не Оля. Неужели не узнаете еще?

„Не Ольга. А, все равно. Не открывать бы глаз“.

И дрожь по телу:

— Это же Клавдия Васильевна.

Он отодвинулся в испуге, упал на подушку. Да, вот ясно. Это Клавдия Васильевна. Она наклонилась, она смеется, она протягивает руки.

— Милый, успокойтесь. Вы такой слабый.

„Это правда: слабый“.

Руки бессильно упали поверх одеяла. И спать хочется.

Приходил отец. У него жесткие холодные руки. Он холодными пальцами трогал голову, грудь. И мурашки бежали по телу от его касаний. Хотелось плотно закутаться в одеяло.

— А-га-га, дело на поправку идет. Напугал ты, Пашка, меня. Что ж это ты?

И голос у него скрипучий — не слушать бы.

И опять — или в сером платье, или в капоте розовом — приходила она. Да нет же, это не Клавдия Васильевна. Нет. Это Ольга. Закрыть глаза. Да, Ольга. Только ощущать. Только погрузить лицо в ее грудь, дышать ее ароматом, самыми концами пальцев трогать ее тело, как шелк нежное.

— Ай-ай, какой баловник. Ну же нельзя туда руки класть.

Шопот обжигающий, над самым ухом.

— Оля.

Это он говорит: „Оля“ одними губами.

Мягкие руки отодвигают его. Он открыл глаза. В распахнутом капоте перед ним Клавдия Васильевна. Лицо, грудь, кружева на груди и кружева ниже — смеется...

Днем — при свете — все было плоско и буднично. Приходил отец. Он потемнел — может быть, от загара, — но такой же благополучный, жирненький, — от него пахнет больницей и духами. Он говорил тихонько:

— Напугал ты меня. И не могу понять, что за причина.

Тетка приходила.

— Ты что ж это делаешь? Зачем хворать вздумал?

Она говорила крикливо и каждый раз очень хотелось, чтобы она ушла поскорее.

Приходила Глаша. Она ступала бесшумно, что-то вносила, уносила, глядела искоса, украдкой, и в ее глазах Павел видел испуг и любопытство. Только раз, когда в комнате никого не было, она подошла к кровати, наклонилась и сказала жарко:

— Выздоравливай скорей. Жду тебя, жду, а ты...

И быстро отошла.

А чаще всех приходила Клавдия Васильевна. В платье, подтянутая, с застегнутыми рукавами, и тогда не верилось ничему.

Уже к окну теперь садился Павел. За окном деревья, цветы — белые, синие, золотые. Тело крепло. Мысли — вот еще недавно ленивые, как волы, — двигались быстрее. И тогда... и тогда все становилось ясным и в своей ясности — страшным.

А ночью опять — ждать: вот придут и тогда знакомые ароматы, и тепло, и нежность.

Жаркое лето уже дышало в окно. В шелесте листьев, в покачивании цветов была сила, и сила вливалась через окно и бодрила.

Отец говорил:

— Тебе пора выходить.

И сам повел Павла в сад. Павел беспомощно улыбался — так странно было — ноги вот-вот подогнутся. Сердце колотилось. И смущало это пальто в летний день и теплый шарф на шее, и шапка.

Беседка, деревья, забор, белые стены больницы, мелькающие сквозь зелень деревьев. И не верилось ничему.

А ночью — мелькнет розовый капот с тремя пуговицами, так легко расстегивающимися...

— Подожди же. Ты еще слабый... милый, не надо. Потом. Ну, подожди же.

И раз днем, гуляя по саду, один — уже окрепший, — он понял все — это страшное раздвоение — и ужаснулся.

И все тогда всплыло в памяти.

XIII

— Отец, ты чем живешь?

— То-есть, как это, чем я живу? — удивился Андрей Петрович.

Он поднял очки на лоб и пристально посмотрел на сына.

— Ну, да! Чем живешь? Что дает тебе силы жить?..

— Я тебя не понимаю. Скажи поточнее.

— Ну, я вот, например, в детстве жил мечтами о том, что я сделаюсь Робинзоном, буду охотиться на крокодилов, в юности жил надеждой, что я сделаюсь ученым, писателем, поэтом; потом стал жить революцией... Даже в тюрьме было чем жить: там у меня была надежда, что в один прекрасный день я выйду на волю... А теперь вот, когда я на воле, мне и нечем жить...

— Как же нечем?

— Очень просто. Нечем и все тут. Ничего в душе не осталось. Нет того стержня, вокруг которого моя жизнь бы вращалась...

— А ты найди.

— Где же его найти? Вот скажи, чем ты-то живешь. Твоя-то жизнь вокруг чего вертится?

— Ну, как это тебе сказать... У меня, конечно, есть цель жизни — я врач. Лечу больных. Я так смотрю: человеческое тело — это храм, где живет бог — человеческая мысль. Сторожить этот храм разве не благородная задача?

Павел скривил рот.

— Ого как пышно!

— Напрасно смеешься. Высокая материя требует пышности.

— И это все?

— Конечно, не все. Лично мне жизнь сама по себе доставляет удовольствие. В ней, батюшка, так много имеется хорошего. Музыка есть, вино, хорошие разговоры, умные книги, природа есть. Наконец, женщины есть... Да мало ли всякой хорошей всячины имеется. А ты, чудак, не найдешь...

Бросил бы ты свои фигли-мигли. Завел бы себе хорошую бабенку. Говорю я тебе не как отец, а как врач: это, брат, очень помогает от разных мыслей о скверности рода человеческого. Начал бы учиться. Кончишь срок надзора, поступишь в университет...

— В университет? Зачем?

— Как это зачем? Ты с ума сошел?

Андрей Петрович строго посмотрел на сына.

— С ума я не сходил, но ты скажи мне, зачем я должен поступать в университет?

— Ну, вот... не говоря уже о воспитательном значении университета, ты добьешься там аттестата. Быть врачем, юристом, учителем, — лучше, чем быть ничем... У тебя будет дорога, материальное благополучие.

— О материальном благополучии мы говорить не будем. Это вопрос относительный. Я, слава богу, настолько образованный, что могу поступить в телеграфисты... А это не существенно: буду ли я получать пятьдесят рублей или пятьсот...

— Если у тебя эта сторона не существенна, то ты не забудь, что университетский человек благотворно влияет на среду... Если бы все относились к университету так, как относишься ты, уверяю тебя, мы не двинулись бы по пути культуры ни на шаг. Наука великая вещь.

— Наука. Но ты, кажется, сам в нее плохо веришь, если прибегаешь к лампадкам и ладану?

— Почему же? Разве наука исключает веру в бога?

— Конечно.

— Ого, ты так недоучкой и остался. Жалко мне тебя. Вот и книжечек ты не читаешь. И...

— Да какой смысл, какая цель такой жизни, как твоя?

— Сначала надо решить, какая цель жизни вообще, а потом уже судить, правильно мы живем или нет.

— Какая же цель твоей жизни?

— Не только моей, а цель всякой жизни — наслаждение.

— Ага! Наслаждение! Чем же вы наслаждаетесь?

— А самой жизнью. Я, например, живу с большим удовольствием.

— Да что интересного в твоей жизни?

— Если хочешь, все интересно. Утрами я купаюсь в ванне, — это наслаждение; я завтракаю — наслаждение, я работаю — наслаждение; я выпью рюмку хорошего вина — наслаждение; прочту хорошую книгу — наслаждение; поиграю с приятелями в карты — наслаждение. Да мало ли? Всю жизнь можно превратить в наслаждение. В писании сказано: „будьте, как птицы небесные". А погляди-ка, как эти птицы живут. Жрут, поют, любят, весело хлопочут, — и никаких дьяволов. И человек может (человек-то умнее) всю жизнь в наслаждение превратить. В уединенный кабинетик пойдет, — так и то ему доставит наслаждение, — облегчить желудок, ох, какая радость!

— Ха, радость! Вот именно! Вот ваши радости именно такого порядка — самого низменного.

— А ты, братец, так зло не смейся. Была бы радость, а какого она порядка, это дело второстепенное.

— Купец грабит, получает доход, от которого люди стонут. Это радость?

— Да радость, конечно, до поры до времени. Но это опасная радость, потому что она отравлена чужими страданиями. Человечество и

стремится к тому, чтобы добыть радость и наслаждение, неомраченные ничьими слезами. Так-то! Машины — для чего они? А чтоб поту человечьего меньше было, а удобств больше.

— Вы радуетесь, наслаждаетесь, а другие страдают.

— Что ж, тут есть и у тебя доля правды. Кое-кто бедствует. Но вот тебе мои наблюдения: бедствуют дураки и злопыхатели. Даже пьяницы — уже наслаждаются. Я их понимаю: выпить — это, знаешь, наслаждение настоящее. А вот злоба — тут, брат, могила всему.

— Сто миллионов крестьянства русского бедствуют. Это тоже дураки и злопыхатели?

— Напрасно ты думаешь, что они бедствуют. У них масса своих радостей, может быть, более глубоких, чем у нас с тобой. Работать в поле, слышать крик грача, — ты об этом как думаешь? Кольцов-то дурак что ли по-твоему, раз так воспел мужичий труд?

„Вот, вот сбей его, если у него все ясно, как стекло".

— Может быть, когда наступит ваше царство, эти люди взвоют от ужаса. Знаешь ты стихи про одного царя? Подслушал он, как рабы его, тоскуя, говорили: „Если бы домой, если бы назад"! Царь удивился: рабы его жили в прекрасных садах, наслаждались. „А где же ваш дом"? — спрашивает. — „В стране могил". Вот вы затащите наших мужиков в социализм, а они запросятся назад, на родину, в страну могил. Им там роднее.

Они пошли молча. Андрей Петрович снял фуражку, — лысина заблестела и во всей его фигуре было столько самодовольства. Павел подумал раздраженно: „Не человек, а лысая истина".

— А вот любви у вас нет к человеку, — это будет самое правильное.

— Какой любви? К какому человеку?

— Да ко всякому человеку. Всяк человек — все человек.

„А-а кургановщина. Всех любить“.

— А полицеймейстера надо любить?

— Надо. Он очень обязательный человек.

— А если я не могу любить?

— Я это знаю. Ты, по-моему, и себя-то не любишь.

— Да и не достоин человек, чтобы его любили.

Андрей Петрович махнул рукой, засмеялся.

— А ну тебя. Ты смрадом дышешь. У меня от твоих слов даже голова разболелась. Повернем-ка домой.

Они повернули домой. Поднимались на крыльцо — Андрей Петрович впереди, Павел за ним. И взглянув на хлястик его пальто, — очень благополучный хлястик, — Павел подумал:

„А что если за тремя пуговицами открыть далекие страны?“

Он хмукнул злобно и почувствовал такое отвращение — и к себе, и к отцу, и ко всей жизни, — что в изнеможении опустился на ступени.

Отец повернулся в испуге.

— Что с тобой?

— Мне тошно, — протянул Павел и потерял сознание.

XIV

„Всякого человека любить? Да есть в городе хоть один человек, которого можно любить? Негодяи, скоты, дураки. Вот и весь город“.

Он подумал о дураках.

О, город! Город мелких людей, ничтожных душ, тайных и явных дураков!

Дураков! А-а-а-а, сколько дураков.

Был дурак Ивака-Голован, здоровенный угрюмый парнище с головой в целую корчагу, лоб семи пятей, с зализами. Ходил Ивака тихохонько, ступни поперек улицы ставил, всегда угрюмо и мрачно бормотал что-то, а что — никто не разумел, потому что был Ивака косноязычен. Но оттого, что никто не разумел ивакина бормотания, всем казалось: Ивака говорит вещее — пророчит. И не подай милостыню пророку, — беду на дом наведешь. И подавали бабы милостыню поспешно.

Был дурак Алешенька, — ранней весной появлялся он на улицах города, всегда в синей рубахе ниже колен, — и больше никакой одежды. Ноги всегда грязные, руки грязные, голова всклокочена, а лицо всполошенное, с дикими глазами. Любил Алешенька-дурачек пеньки и пенечки. Зайдет, бывало, во двор чей нибудь, и прямо к поленице и высматривает, нет ли пенька закомуристого. А высмотрит, — всю поленицу разроет, достанет пенек и, дико ухмыляясь, загудит от радости и пойдет со двора, с торжеством неся пенек в руках. Считалось: благодать божия приходит на двор с Алешенькой, и пока Алешенька рылся в поленице, бабы издали смотрели на него и крестились от радости — и после давали Алешеньке хлеб. Алешенька куснет хлеб раз, другой, третий и бросит. Давали порой и деньги, но деньги Алешенька швырял тотчас с диким сердитым гудением. И бабы в восторге были от алешенькина негодования.

— Деньги-то! Деньги бросает. А мы-то, грешные, нам бы только поболе их.

— А что ты думала? На деньгах — грех налипает.

— Знамо, грех. Чует ангельская душенька.

Целое лето и осень, до заморозков, ходил Алешенька по улицам и дворам. А при первых морозах его сажали в баню на цепь и там Алешенька жил до весны, как зверь. Случалось, обрывал Алешенька цепь, убегал — босой, в одной рубахе — в морозы лютые бежал по снегу на улицу. Тогда все, кто его встречал, поспешно его ловили, срывали с себя одежду, кутали Алешеньку и несли на руках назад, в родную баню, на цепь. И в городе после говорили:

— Быть беде, — Алешенька с цепи сорвался.

И ждали мора, засухи, глада, болезней, войны...

Был еще дурак — Сидорка. Здоровый бородатый мужчина — очень веселый и подвижной. Каждый день с большим холщевым мешком в руках обходил он полгорода — собирал милостыню. Но не просил, как все нищие — тихим ласковым голосом, — а, подойдя к окну, кричал: „баут, баут, баут, таради. Баут, баут, баут, таради". И его крик был похож на лай. Смеющиеся лица высовывались из окон.

— А, Сидорка. А ну, почитай!

И протягивали ему бумажку — все равно, какую, хоть кусочек бумажного кулька. Сидорка брал бумажку и торопливо, на разные тона „читал" — „баут, баут". И покачивался в такт, и потряхивал волосами.

Была дурочка Манефа, — толстая девка, всегда ходила в теплом бедуиме и теплом платке. Бывало скажет ей кто нибудь: „А ну, Манефа, попляши". И Манефа заплачет источно, но и запляшет, мелко семеня ногами. Пот с нее польется, но Манефа пляшет, пляшет усердно — пока кто взрослый не крикнет: „Будет, Манефа".

Был дурак Женька-Чеченька, — при Покровской церкви сторожем был, свечи зажигал, — не

выносил звука чи-чи. Бывало услышит, сломя голову бросится на обидчика, и если догонит, тогда не проси милости, — до полусмерти изобьет.

Был дурак Володя-казак, кроткий, ласковый, любил звонить в колокола.

Был дурачек Тимофей Тарасыч — провожал покойников до кладбища, и один — басом — пел всю дорогу „святый боже“.

Был дурак Гриша — Каленый нос, — приспособили было его возить на тележке калачи из пекарни на базар; но мальчишки крикнут: „Гриша, нос-то у тебя перекалился“. Гриша бросал тележку и пускался за ними. А другие в это время тянули калачи с телеги... Так и не довозил Гриша калачей до базара.

Был дурачек Мишанька — с гор, зиму и лето ходил в тиковых кальсонах, пьяный и злой, дразнили его: „Мишанька с гор, зачем колокол в соборе разбил?“ Мишанька, услыхав этот вопрос, ругался во всю улицу, и большими и малыми загибами ругался долго-долго.

Был Николя-Титня — воображал себя солдатом, каждую осень в призыв приходил в воинское присутствие и требовал, чтобы его приняли на службу. Его гнали прочь. Он буянил. И потом — весь год — до нового призыва — маршировал по улицам.

И-и, сколько их было!

От пьяной, от тупой звериной жизни, — родились они и, как звери, бродили по улице тупые и оттого таинственные, с загадочной жизнью в звериных глазах. Питались больше возле церквей, по поминкам. И весь город считал их юродивыми, пророками, святыми. Их — пьяниц, ругателей, идиотов.

И только уличные мальчишки и приказчики из торговых рядов дразнили их дико, озорничая.

Сидорку мазали сажей, заставляли плясать до упаду Манефу, кричали Женьке-Черченьке чи-чи, — издевались надо всеми.

И еще были дураки, которых родные держали взаперти, никуда не пускали, чтобы те своим видом не срамили их. У купца Чепурина сидела на цепи дочь-девка. У соборного ктитора Сивкова сын и дочь тоже сидели взаперти. Да мало ли?

„И вот еще дурак — Павел Зубов. Также бездельно бродит и также никому он не нужен“..

И застонал сердито.

„Но меня жизнь сломила. Я ради вас погиб. А вы-то? Кто вы?“

„А ну-ка к ответу. Раз в жизни — к ответу человека. Человека!“

„Ты на каком основании живешь? Какое ты имеешь право жить? На каком основании ты живешь и запакащиваешь природу?“

„Только потому, что родился?“

„А-а, вот кого не надо жалеть, — современного человека. В Америку пойди, в Африку, в Полинезию, — обойди весь свет, и везде будешь встречать этого двуногого, вертлявого, хитрого, злобного, подозрительного скота — человека. Кто сказал — нельзя убить? Есть лебеди — божественная птица, а ее убивают и не терпят наказания. Кроткие лошади — их изнуряют работой и не терпят наказания. А человек гнусен, — для чего живет? Еще два года вот здесь быть прикованну? Смотреть на эти шляпы, пиджаки, ленты, сложенные сердечком губы, пышные зады, слышать лошадиный смех и жеманные речи? Два года — это страшно“.

От ненависти у него поднимались на затылке волосы.

Разве жизнь этих чего-нибудь стоит?

О, счистить бы всю эту сволочь с лица земли! Взять большую-большую бритву и срезать все, как срезают загнившее место с яблока!

XV

— Никаких интересов. Живут, как скоты.

В глазах у Каменщикова запрыгали бесенята.

— Ты совершенно прав. А посему, пойдем в клуб сыграем на биллиарде.

Павел засмеялся.

— И ты такой же, как и все?

— Где ж нам, дуракам, чай пить?

„Вот спорили, волновались, а потом — в клуб“.

Он поплелся нехотя за Каменщиковым. „Не все ли равно?“

Клуб в саду, — белое здание с террасой, а на террасе столики, — сейчас пустые. Из биллиардной слышалось щелкание шаров, хохот. „Не все ли равно?“

Высокий черный студент в белом кителе на распашку глаголем изогнулся над биллиардом.

— Режу в угол.

Павел знал этого игрока — сын аптекаря Костя Подобед. Партнер — тоже студент — высокий, рыжий, в розовой рубашке с рукавами, засученными по локоть, стоял, широко расставив ноги, и гулко заржал, когда Костя промазал.

— Га-га-га!..

И жеребячье было в его ржаньи.

— Так всегда ходи, Котик. Эх, мила-ай. Ты вот гляди.

И нагнулся над бортом, волосатой рыжей рукой задвигал кий, точно пилил. Усатый маркер с лицом каторжника стоял у стены.

— Что ж, пока выпьем пива?

И Каменщиков подозвал лакея. Студенты играли с деловым видом, старательно, точно решали важную проблему. Каменщиков сказал:

— Ты знаешь этого рыжего? Это сын нашего протопопа Мансветова. Занятный парень. Медик Что ж, пей. И не смотри так мрачно.

„Не все ли равно?“

От пива закружилась голова — приятно и тяжко, — и странная развязность появилась.

Перезнакомились. Пили вместе. Рыжий студент забубнил над самым ухом Павла:

— Я вас знаю давно, Павел Андреевич. Я только на два класса младше вас был в реальном. Бывало папаша говаривал мне: „Учись, как учится сынок доктора Зубова“. Потом, когда вы в тюрьму попали, он уже и перестал вас ставить в пример.

И рыжий опять загоготал:

— Га-га-га.

Пришли еще молодые люди, играли на биллиарде, пили пиво, хохотали, пели, жали Павлу руку.

Из биллиардной перешли на террасу, ближе к буфету. Мансветов сам переставлял столики, сгруживая их, командуя:

— Дюжину сюда.

Стриженные и волосатые, седые и юные толклись в зале и на террасе. Шел вечер, и много народа затолпилось в клубе. За деревьями, в саду, грянула музыка. Мимо террасы, по аллее, задвигались гуляющие. Павел видел только яркие шляпы и бледные пятна лиц. От пива и споров у него кружилась голова, он негодующе кричал в чьи-то красные потные лица:

— Мы разбили свои крылья о стену вашего равнодушия. Мы боролись за ваше счастье, а вы вот — пили пиво и поигрывали на биллиарде.

— А кто вас просил, молодой человек, бороться за наше счастье?

Бородка клином, нос хоботом протянулись к самому лицу Павла.

— Кто просил?

Павел широко открыл глаза.

— Кто просил?

— Да-с. Скажите нам, кто вас просил бороться? И кому нужны ваши жертвы?

Павел откинулся на спинку стула.

„А-а... это дантист. Кто просил?“

И вспомнил: дантиста звали Эдуард Карлыч Деморей, а за глаза звали просто: Геморой. И ответил зло:

— Да, конечно, геморои нас об этом не просили.

Деморей негодующе поднялся и злобно, через плечо, бросил:

— Мальчишка.

Мансветов хохотал: „Га-га-га“.

Павел точно проснулся. Музыка в саду, веселый шум за столами, хохот. За соседним столиком сидел толстый, как боров, человек в черной шинели с полковничьими погонами — начальник тюрьмы. Обрюзгшие щеки, обрюзгший затылок. „Бороться за его счастье?“ В углу шумела пьяная компания, почему-то кричала ура. Вдруг там поднялся человек в синей венгерке, лохматый, и Павел узнал его: Завулонов, анархист. Он что-то прокричал, точно пролаял, и пьяная компания гаркнула ура.

Снизу, с аллеи, важно вошел на террасу Андрей Петрович и тотчас за столиком в углу кто-то пьяным голосом закричал:

— Петр, подай сюда Андрей-кота.

И вот близко, за соседним столиком, отозвались:

— И сюда Андрей-кота порцию.

Андрей Петрович медленно прошел через террасу в игорную залу, где за зелеными столами при свечах сидели картежники.

В этот вечер Павел напился — впервые в жизни, и Каменщиков повез его домой.

Утром, придавленный безысходной тоской, он писал: „У меня такое чувство, что я сделал страшную ошибку, которая будет меня угнетать всю жизнь и цепью скует всю душу. Мы боролись, хотели перестроить жизнь, дать людям красоту и счастье, а эти люди теперь меня спрашивают: „Да кто вас, молодой человек, просил бороться за наше счастье? Да знаете ли вы, в чем наше счастье?“ Так вчера спросил меня один из обывателей. Я с ужасом остановился перед его вопросом. В чем человеческое счастье? Когда мы работали в деревне и в рабочих кружках, мы как будто видели, в чем счастье людей. Восемь часов труда и шесть десятин на душу... В этом ли счастье? Вот я попал теперь в самую гущу жизни — у нас ведь живут так, как живет вся необозримая Россия — и я хожу теперь, как по кладбищу, где похоронил свои надежды. Даже те, кто называл себя анархистами, пьянствуют и ничего больше. Не ошиблись ли мы? Мы хотели поднять скалу, сдвинуть ее с места и надорвались. Не по силам работа. Нужно было делать что-то другое... Неоглядную русскую жизнь мы хотели сдвинуть своими слабыми силами. Во всем городе — на пятьдесят тысяч жителей — у нас верил в революцию только один человек. И его считают или сумасшедшим, или дураком“...

XVI

Завулонов жил над речкой — в большом старом, дворянском доме. Перед домом липы, во дворе тоже липы и собаки. Дом глядел мрачно позеленевшими от времени стеклами всех двенадцати окон. Старый лакей провел Павла и Курганова через четыре больших пустых комнаты. Впереди загрохотал грубый басовитый хохот.

— А, чорт, у него гости,— проворчал Курганов,— вероятно, пьяным пьяно.

В комнате залаяла собака и голос крикнул:

— Кто там?

Лакей ответил:

— К вам гости.

Он недружелюбно осмотрел гостей с ног до головы и пропустил вперед. На мягких креслах полулежали трое — все лохматые — и курили трубки с длинными чубуками.

— А-а, Курганов!

И лохматый поднялся навстречу. Павел заметил: у лохматого на темени стыдливо желтела лысина.

— Знакомьтесь,— буркнул Курганов.

— Я вас знаю,— сказал Завулонов,— вы Зубов. Как же, знаю. Хотя я, будучи анархистом, и не уважаю социалистов, но к вам я питаю уважение. Пять лет тюрьмы... Как же. Вашу двоюродную сестру Зинаиду Семеновну я люблю. Таким образом, садитесь пожалуйста, и будьте как дома. Мы выше мещанских церемоний, а потому... прошу вас.

И оборотясь, к двери, гаркнул:

— Алексей, подай две трубки!

Алексей тотчас принес две трубки.

Стены комнат были сплошь увешены картинами и снимками, на которых были голые женщины в самых разнообразных позах. Большая картина

Ропса висела в переднем углу, где обычно вешают иконы. На этой картине белая пухлая женщина бесстыдно изогнулась и улыбалась блудливо, словно звала.

Курганов закурил.

— Пейте пиво! — сказал Завулонов.

Он был в той же самой венгерке с серебряными пуговицами в виде шариков, теперь расстегнутой, в лакированных высоких сапогах. На полу были лужи от пролитого пива.

— Однако ты весело живешь! — сказал Курганов и кивнул на картины.

— Хо... единственное великолепное удовольствие смотреть женское тело. Я привез японские альбомы недавно. Хочешь посмотреть?

Из соседней комнаты он принес альбомы с лакированными крышками и свитки. Он развернул широкий свиток.

— Вот это, пожалуй, будет самый интересный сюжет. Вот смотри,— картина первая: два моряка отправились искать по свету сокровища. Вот... попали на остров, где только женщины. Женщины забирают моряков в плен... Видишь, женщины рассматривают их во всех подробностях...

Гости ржали. Курганов улыбался, чуть смущенно. Вошел лакей, стал убирать пустые пивные бутылки. Павел от стыда боялся глянуть на него.

Свиток за свитком, альбом за альбомом показывал Завулонов ржавшим. И от ржания гостей, от запаха табака и пива у Павла кружилась голова и было противно.

Потом гости устало отвалились от свитков и альбомов. Завулонов крикнул:

— Алексей, убери альбомы!

Старик вошел и бережно начал свертывать свитки.

— Тише, не помни.

Стали разговаривать о политике.

— Что же вы признаете? — спросил Павел.

— А ничего не признаю. Я анархист. Все должно быть уничтожено, — государство, боги, мораль...

— Он, кроме голых баб, ничего не признает,— сказал рыжий гость.

Павел наклонился к Курганову:

— Уйдем!

Они попрощались и вышли на улицу.

— Я не понимаю, почему ты так много ругаешь людей, — сказал Курганов, отвечая на прежний спор, — этот Завулонов — исключение. Ты же видишь. Есть другие. Ты забыл, что люди создали красоту жизни. Какая дикая привычка замечать только гнусное. Хам заметил, что Ной пьяница и осмеял его. Но Хам не заметил, что Ной — гений: он построил ковчег и спас человечество. Все вы, ругающие люди, похожи на Хама.

— Старо, старо, брат. Я где-то читал об этом.

— Если хочешь знать, человечество свято,— горячась закричал Курганов,— да-с. А вот такие стервецы, как ты, действительно заслуживают, чтобы их повесили на первой осине...

— Ну, ты не блажи. Я тоже думал сначала, как ты. И вот... надорвался.

Они прошли горой к реке, спустились к самому берегу и сели на камни молча. Вода по белым меловымкамням лилась светлая. Два штукатура в белых, покрытых известью фартуках спустились к воде. Они прошли вон от того нового дома, что виднелся на берегу, на горе. Оба они устали. Брызги известки были не только на их фартуках, но и на бородах, на лицах, на старых измызганных фуражках и на сапогах. Один — с рыжей бородой и черными

бойкими глазами быстро наклонился к воде и начал мыть руки и лицо.

— Эх, мать честная, водица какая студеная,— сказал он фыркая.

По его лицу было видно, с каким он удовольствием мылся. Потом он долго вытирался фартуком. Другой вымыл только руки. Рыжебородый сказал:

— Вот сядем в холодке и давай пообедаем.

— Ну-к что ж, давай.

Белый меловой утес, столбом поднимавшийся над рекой, бросал тень почти до самой воды. Штукатуры постелили в тени утеса пиджаки и уселись обедать, сняв фуражки. С собой они принесли огурцы, воблу и хлеб. Рыжебородый, прежде чем сесть, торопливо перекрестился. Павел и Курганов искоса и молча посмотрели на рабочих.

— А-ну, господи благослови,— сказал рыжебородый и с громким хрустом откусил огурец. Потом оба они, точно на перегонки, начали есть, громко откусывая хлеб и огурцы и чавкая. На лицах у обоих появилось спокойствие и довольство... Рыжебородый ласково оглянулся кругом, на тот берег, туда, за реку.

— Вёдро-то како стоит! Благодать!

— Угу,— с туго набитым ртом ответил другой. Видно было, как у него щеки сильно отторбучились.

Павел поднялся.

— Идем.

И, не дожидаясь, что ответит Курганов, быстро пошел берегом к городу.

Курганов лениво пошел за ним.

— Видал? — спросил Павел, когда они отошли немного.

— Что?

— Этих людей, чавкающих, как свиньи.

— Гм... ты, сударь, все-таки выбирал бы выражения.

— А что мне выбирать, если у меня кипит против них злоба? Что для этих людей наши социализмы, наши мечты, если все их желание ограничивается огурцами? Как они неопрятно едят, как чавкают!

Курганов с изумлением посмотрел на Павла.

— Наконец-то ты высказался. Подумаешь, какой аристократ и белоручка... Да знаешь ли ты, что единого пальца не стоишь этих людей? Они трудятся, они на своих плечах несут тяготу жизни... А ты — чав-ка-ют... В них, если хочешь знать, все трогательно — и огурцы, и известка, и черствые руки, и хлеб, и их замазанные картузы...

Павел остановился и сказал тихо, раздельно, прямо в лицо Курганову:

— Ка-кой же ты дурак, Курганов.

XVII

Целую неделю — днями и ночами — бродил Павел по лесу. Теперь уже ничто его не успокаивало. Поднявшись на Дозор, он садился, минуту слушал, как прыгало взволнованное сердце, потом поднимался и шел, куда глаза глядят. Дома он не обедал вместе, потому что при одном взгляде на отца и Клавдию Васильевну, на них вместе, — он острее чувствовал свое одиночество и ненужность. Книги валились из рук. Достаточно было прочесть одну-две фразы, и мысли, как взбешенные лошади, кружились, неслись, отрывали внимание от страницы; и все обыденное было пресным, мелким.

На Дозоре он еще любил бывать. Эти бесконечные дали как-то успокаивали, будто перед ними становились ничтожными все людские дела.

Сторож уже теперь привык к нему. Он иногда подходил, смотрел на него издали, спрашивал. И в вопросах его была боязнь. Потом привык. Иногда садился неподалеку, и они разговаривали. Раз поговорили по-душам:

— Так вы, значит, сынок Андрею Петровичу, доктору, будете? Так, так. Знаю его даже хорошо, дай бог ему здоровья. В те поры, лет десять тому назад, спина у меня отнялась, — выходил он меня. Так, так... А вы-то, значит, по каким делам пошли?

— Я здесь пока так живу.

— Это насчет чего же?

— Я, дед, под надзором полиции.

— О? Вон как! Да это что же? За каки-таки дела?

— Я за народ боролся.

— За на-ро-д? За какой же?

— За русский. За вас, за тебя, например.

— За меня-я? Это спасет Христос! Да против кого же вы боролись?

— Против царя и правительства.

— Ца... царя-я?.. Эге-ге, милок!.. Сацалист, значит?

— Да, социалист.

— Это, значит, ты из таких, которые царя Лександру убили? Та-ак!.. А кто тебя просил за нас бороться?

— Никто не просил. Я сам. Ради вас!

— А раз не просил никто, и лезть не надо было. Выискался тоже! Сацалист, значит? Слыхали мы про таких. Как же? Много теперь такой сволоты развелось.

Он помолчал. И в молчании словно вел спор раздражающий. Заугрюмел, глянул злобно.

— А что я тебе скажу, господин хороший, — вот тебе бог, вот тебе порог, иди-ка ты от нас к такой матери.

Он оперся руками о землю, поднялся. Павел подозрительно поглядел на него.

— То-есть, как?

— Да так. Иди от нас и все тут. А то шею, пожалуй, наклею. Не посмотрю, что ты молодой. Я тебе такого царя дам, не обрадуешься.

— Стой, дед, стой, ты меня, должно быть, не так понял.

— Хорошо я тебя понял. Это ваша шатия царя Лександру убила. Сволочи! Иди отсюда, я не погляжу, что у тебя отец доктор.

Павел молча поднялся. Что делать? И пошел вниз, под гору. Старик ругался.

— Нашлись тоже спасатели.

Голос с горы слышался долго.

Как ясно было в тюрьме. И как хорошо. Своя жизнь казалась широкой. Хорошо было думать о себе, как о борце за всеобщую прекрасную жизнь. И люди оттуда — из тюрьмы — казались чище, прекраснее. Они только угнетены. Но придет день, они встрепенутся, и все пойдут за ним, Павлом Зубовым, пойдут строить эту новую прекрасную жизнь. А на деле... слышишь, как кричит?

О, глупое, самодовольное мещанство! Уж нечего говорить о птицах,— коза какая-нибудь лучше человека. Коза не живет под гнетом этого вечного страха. А люди... люди вот здесь все боятся чего нибудь. Женщины боятся, что им и детям их скоро нечего будет есть. Вечное ожидание бед. Пройди вечером по улицам. Бабы и мужики сидят на лавочках у ворот. Увидят незнакомого, смотрят долго, испуганно вслед.

— Чей такой? Чей?

Им уже кажется, что это вор или разбойник, высматривающий, с какого дома начать грабеж.

Жалкая жизнь. Бедная жизнь. И разве жалко убить ее? Пусть бы ее вовсе не было.

А мораль, что держит эту жизнь? О, какая дикая мораль.

Вот на взгорье, на углу Московской и Моховой — широкий уседистый дом доктора Первакова — чуть от улицы отступил за решетчатый палисадник и густо закрылся зеленью — серебристыми тополями, сиренью, а прямо по стене — буйным хмелем, что лез на самую крышу.

Окна у Перваковых всегда открыты и ночь и день, и через решетку по ночам видно, как там, по просторным комнатам — будто богато убранным (через окно, ночью, все комнаты кажутся чище, богаче, уютнее) — ходит Нина Первакова— кубышка, уже в летах, осыпающаяся. Тоскуя, она долго сидит перед черным пианино, красивой музыке отдает тоску. По субботам мещане — красные, распаренные, с березовыми, исхлестанными вениками под мышкой — возвращаются из торговых бань мимо окон перваковского дома и все почти одними словами говорили благочестиво и злобно:

— Ишь, сволочь, как зажариват. Не знат, что завтра воскресенье.

— Им что? Бога забыли.

И прибавляли ругательства.

„Ну, кто обманул этих двуногих, назвав их людьми? Революцию делать во имя человека... Да, да. Но неужели во имя их?“

XVIII

Тетушкина горничная Катя прибежала перепуганная,— лицо белое, как мел, закричала:

— С барыней неблагополучно. Просят приехать барина — и молодого и старого.

Андрей Петрович забегал шариком.

— Павлуша, скорей. Если требует, значит серьезно. Пожалуйста, собирайся.

Марианна Петровна лежала в зале, на кожаном диване, вся обложенная подушками, а на лбу — мокрое полотенце, из-под полотенца жирное, багровое дрожащее лицо. Она зарыдала, едва показались в дверях Андрей Петрович и Павел, и рыдание было похоже на хохот.

— Братец, братец, дорогой, до чего я дожила!.. А-ха-ха...

— Да что • случилось? Во-первых, успокойся. Тебе вредно волноваться.

— Опозорена на веки. На веки веков опозорена.

— Опять Зина что нибудь?

Рыдая, Марианна Петровна рассказала: нынче Зина ей призналась, что она... в положении.

И, рассказав, тетушка вдруг поднялась с дивана и деловито сунула кулак к лицу Павла.

— Это ты!.. твое влияние. Это ты, бывало, говорил, что греха нет. Вот теперь, полюбуйся. Полюбуйся на свою работу!

Она ругалась, плакала, грозила. Андрей Петрович широкими шагами ходил по комнате, руки за спину, глаза в пол.

— Что ж теперь делать? — спросил он и поглядел на сестру искоса, мельком.

— Ума, ума не приложу.

— Ну что ж там... „ума не приложу“, значит, прикладывать нечего.

— Это как надо понять? Ты смеешься надо мной?

— Одну дочь и ту уберечь не могла. Эх ты!

Едкое и суровое мелькнуло в лице тетушки.

— А ты, братец, без выговоров. Убережешь от вас, кобелей. Твоя Клавка тоже девкой была, а кто ее соблазнил?

Андрей Петрович кумачево покраснел, и лысина у него стала, как свекла.

— Ты ссориться со мной хочешь? Зачем позвала?

— Ну как быть-то я тебя спрашиваю?

— Попытайся замуж отдать за того, кто...

— Да не говорит она.

— Допросить надо.

Тетушка встала решительно.

— Пойдем допросим. Я ей мерзавке...

Она торопливо пошла, ступая крепко, так что трещали половицы.

— Я ей задам!

Андрей Петрович поплелся за ней. Было слышно, как они густо топали, поднимаясь по лестнице в мезонин. Павел сел на подоконник. По двору стадом ходили индюшки. Трава лениво качалась под ветром. Сверху — из окон мезонина — вдруг раздался резкий крик тетушки. Индюк перепуганно забормотал, вытянул шею — и круглым испуганным глазом смотрел вверх на окна мезонина. Крик повторился — резкий. Потом послышался плач. „Неужели бьют?“ Павел представил отца и тетушку — „мы первые люди в городе“ — тузящих Зину и злобно засмеялся. Он пересел в кресло у окна, откинулся на спинку и посмотрел на потолок.

Сверху раздался заглушенный сердитый говор. Равнодушные часы солидно постукивали, как будто в доме ничего не случилось. Попугай мучительно лазал по клетке. Все прежнее. Горничная порой приходила,— и на лице у ней была тревога и строгость.

Вот на лестнице опять затопали, и в гостиную вползла тетушка, вздрагивающая и красная. За ней плелся Андрей Петрович тоже красный. Тетушка сказала:

— Ну, славу богу, мы теперь выход найдем. Только вот кого взять?

— Призналась?— спросил Павел.

— Признаться не призналась, но дала согласие, что выйдет за всякого, кого мы ей наметим...

— Но кого же вы намечаете?

— В самом деле, сестра, женихи на улице не валяются!

Тетушка рассердилась

— Знаю, что не валяются. Да у меня есть на примете. Вот точно чуяло мое сердце, высматривала, выискивала...

— Кого же нашла?

— Да вот уж этого дурака Завулонова придется взять.

Андрей Петрович поглядел на сестру испуганно.

— Ты... ты же всегда была против него?

— А сейчас-то я за него, что ли? Нам не жених нужен, а подставка. Тут на кляче поедешь, раз нет рысаков.

Андрей Петрович сердито надвинул картуз с кокардой и пошел к двери.

— Делай как хочешь. Мое дело сторона!

Тетушка ехидно сказала ему в спину:

— Я знаю, твое дело сторона. Знаю.

Павел насмешливо поцеловал руку тетушке и поплелся прочь. Индюки во дворе испуганно кричали. Окна в мезанине белели занавесками.

„Вот как к женщине относятся. Точно куклой играют“.

Он представил Завулонова, его квартиру, полную порнографических картин. И Зину — веселую,

подвижную, насмешливую... „Впрочем, что же сама-то женщина? Только игрушка, развлекательница, необходимая принадлежность спальни и столовой?“

Некстати Павел вспомнил: однажды в Риге он остановился в гостинице с паспортом на имя костромского купца. Коридорный, оправив постель, басом спросил:

— А вам приложение на ночь нужно?

Павел подумал: „Приложение — может быть, что необходимое?“ И сказал:

— Нужно.

И через четверть часа в номер вошла белая, полная немка с голубыми невинными глазами.

Павел удивленно раскланялся.

— Что вам угодно, сударыня?

Немка весело улыбнулась и сказала просто:

— Я прилошение.

И коридорный от двери басом подтвердил:

— Это вам приложение. Если не нравится, можно сменить на брюнетку. У нас евреички есть хорошенькие.

„Да и у всех вот приблизительно так же: женщина лишь приложение, и если не нравится, можно сменить“.

„Что же, что — можно беречь эту жизнь?“

...Тетушка теперь приезжала каждый день, запиралась в кабинете с Андреем Петровичем, говорили долго.

— Как дела, тетушка?—спросил однажды Павел.

— Ты о Зинке? Идут дела.

— А Завулонов что?

— Наладилось. Представь, сперва было заупрямился. „Я,— говорит,— как анархист, не могу в церкви венчаться. Мне совесть запрещает“. Ну, я и решила его постращать. „Тогда, говорю, до

свиданья“. Он испугался и согласился. Через неделю свадьба.

— А Завулонов-то знает?

— Ну, уж это его дело. Коли покупаешь, смотреть надо. А купил — носи на здоровье.

— Как же потом будет?

— Что потом? Когда потом?

— Он все равно узнает.

— Потом нам все равно. Лишь бы провести Зинку под его флагом. А потом — узнавай, батюшка, что тебе угодно.

Тетушка звала на свадьбу. Павел отказался решительно. Но в воскресенье — в день свадьбы — пошел в церковь. Завулонов приехал в коляске, украшенной цветами и лентами. Старик-лакей сидел рядом с кучером. Завулонов ехал с непокрытой головой, и ветер трепал его длинные кудрявые волосы. Павел сел на крылечко у пожарной команды, что как раз против Троицкой церкви, смотрел. На белых лошадях — парой — в коляске приехала Зина. Она и подруги, одетые в белые платья,— казались чистыми, недоступными.

Павел прикинул в уме все, всю нелепость этого венчания и едва не заплакал от злости.

XIX

Уже надвигалась осень. Студенчество уезжало в города, ребята пошли в школу, жизнь в городе еще посерела — теперь чиновники, учителя, купцы, врачи, мещане потянут скучную тараканью жизнь до самой весны. И каждый в своей щели.

„Город Рожнов стоит триста лет. Триста лет вот в этих местах жили и живут так называемые люди—в лютой нищете жили, в голоде, без радости жили, как... как собаки жили, у которых

с боков шерсть клочьями по случаю голода. Зачем нужна их жизнь? Где их счастье? Где мое счастье? Его нет и не будет. Смерть избавительница, приди".

Таково начало рассказа, — Павел попытался написать его—рассказ о своей ненависти к людям,— но дальше начала не пошел, сел писать, все кипело напряженно, вот будто поэму целую напишет, но все слова оказались хилыми и будничными, и потуги написать — пали.

— Уничтожить бы все — вот это существенно.

— Да что я? С ума схожу? Неужели не жаль ни одного человека?

Разбирал, перекладывал. Да, не жаль. Полтора года! Еще полтора года прожить так,— вот в этой дыре, городе Рожнове. Утром, днем, вечером — глядеть на самодовольных, тупых людей, еще полтора года.

... Пожар начался ветреной ночью. За окнами крутило пыль, сор, деревья тревожно, по осеннему шумели. И в тревожный шум ветра вонзился набат: дон-дон-дон. От ветра или от дум что ли Павел спал чутко. Он разом очнулся, услышав с детства знакомый тревожный звон. Вот звон оборвался, но через момент сразу и с новой силой зазвонил другой колокол — зазвонил отчаянно и уже беспрерывно. Павел дрожащей рукой нащупал спички, зажег лампу и стал одеваться. Набат откликнулся у Покрова, потом у Николы, и в других церквах — дальних. Зазвонили во всех церквах города колокола на разные голоса. Павел собирался торопливо, злобно посмеивался и сказал вслух:

— Ага, загорелось? Это очень приятно. А то я бы поджег...

За дверью кто-то бегал тяжело и торопливо. Это Клавдия Васильевна, Глаша и Катя. Клавдия

Васильевна сама зажигала лампады, поднявшись на стул. Она была в капоте; папильетки, как белые рога, торчали из ее черных волос, круглые полные руки, освещенные колеблющимся светом лампад, казались холодными и белыми, как мрамор.

— Павел Андреевич, в городе большой пожар,— сказала она.

Павел увидел: ее глаза были большие, от испуга черные.

— Там все полезли на крышу, на больницу. Оттуда хорошо видно.

На дворе больницы уже толпился народ. На крыльце виднелись больные, в халатах. По железной лестнице кто-то темный лез вверх, и лестница глухо гудела. Все было освещено красным, колыхающимся светом. По улицам скакали пожарные, и колокольчики отчаянно звонили. Кто-то с крыши кричал:

— Весь Солдатский конец горит. Уже в Винновку перекинуло.

Павел полез на крышу.

Огонь, раздуваемый ветром, полыхал на пространстве многих кварталов. Словно кто поднял пурпуровое и золотое полотно над городом и широко размахивал им, поднимая до неба. Епархиальное училище, женская гимназия и церковь Покрова ярко засветились розовым светом. Во всем городе было светло. Улицы казались розовыми, и черные точки —люди —бежали по розовым улицам. Порой густые стаи золотых искр вылетали из огня и неслись вверх, гасли и пропадали высоко в темном сизом дыму, что уже застилал половину неба и крутился лениво.

Неясный крик а-а-а-а несся от пожара. Дальние горы светились мерцающим светом. Дул холодный восточный ветер и шумел.

— Ветер. Вот хорошо,— криво усмехаясь, сказал Павел.

Горела вся Солдатская слобода, вся Преображенская улица и уже загорались первые дома в Винновке. Церковь Преображения стояла вся окруженная горящими домами. Огонь ярко светился в ее окнах,— и золотые искры, похожие на золотую метельную пыль, неслись быстро мимо колокольни, вкось и вверх. Ветер дул прямо на город. Пламя, кружась бесконечным колесом, росло и росло. Улицы вдали были полны мечущимися черными козявками —людьми. Только далеко справа на горе, у ветряных мельниц, козявки чернели плотной неподвижной массой. „До них пожар не дойдет. Они спокойны".

Павел почувствовал, как холод охватил его спину и затылок. „Что ж, лиру теперь златострунную да спеть?"

Он вспомнил рисуночек из детской книжки: Нерон играет на лире и поет, а вдали горит Рим, зажженный по его прихоти.

„А может быть и я Нерон? Я тоже хотел бы уничтожить город".

Он неторопливо спустился с крыши и пошел к пожару. Только кучки людей стояли у дорог. Слышались тревожные разговоры, вздохи, мольба. Выкрикнула плачущая женщина:

— Господи, мать пресвятая, спаси и помилуй.

За четыре квартала до пожара, на площади, возле церкви виднелись кучей наваленные сундуки, одежа, ящики, ведра, тазы и возле них женщины, дети, мужчины, погорельцы. Одни сидели, другие бродили возле вещей. И красный свет пожара их освещал. Вопли и причитания глушили шум пожара. Ребята плакали нудным плачем. И в нем слышалась такая скорбь, такое

отчаяние — в этом ребячьем плаче, что Павел испуганно остановился.

„Хорошо, что загорелось?“

Женщина лежала на земле в обмороке. Маленький мальчик и девочка в рубашенках, оба с голыми ножками, сидели возле нее. Мальчик кричал:

— Мамка, не плакай!

Он хлопал рученками по лицу матери.

— Не плакай, мамка!

И сам горько плакал.

Раздетые, полуголые люди тащили мимо сундуки, узлы, тревожно кричали, женщины вопили.

— Мамка, не плакай!

„А-а-а. Вот оно“.

Павлу мгновенно представился весь ужас его ненависти... Ненавидеть? Кого? Вот их, этих несчастных?.. И будто швырнул кто его,— он побежал к пожару. Ветер все усиливался, и в пустых кварталах вихрем неслись искры, головни скакали по земле, зажигали еще и еще дома и заборы.

За углом пожарные стояли с машиной под ветром,— через крышу, через улицу и через их головы ветер нес искры и клубы дыма. Все кружилось, двигалось нервно, мелькало, и казалось, что дома в страхе перед пожаром дрожат, и переливчатые многоцветные отсветы мелькают в стеклах их окон, как в испуганных глазах. На Продольную улицу нельзя уже было выйти — жар палил нестерпимо. И пожарные робко жались за углом. На земле валялись топоры с длинными ручками и багры. Павел схватил багор и двинулся к забору. Он почувствовал, как жаром пахнуло ему в лицо. Чьи-то руки позади уцепили ручку багра и голоса заорали:

— Вали, вали!

Забор закачался и рухнул. Его поспешно начали растаскивать люди, едва видневшиеся в дыму. Павел бросался от забора к забору, от дома к дому, ломал, рубил, — он заметил: достаточно ему ринуться к огню, как за ним бежали еще люди, все сгибались от жары, прятали лица, но не отступали, ломали и тушили, чтобы отрезать пути пожару. Уже неясные маленькие фигуры сидели на крышах и рубили топорами. Пожарные словно устыдились своего страха, выехали с машинами на Продольную улицу, и белые струи воды хлестали в огонь. Людей возле огня становилось все больше и больше. И бодрый крик боролся с шумом пожара:

— Урра! Беррри!

Искры и головни прыгали по земле мимо ног. Одна впилась в руку выше локтя, и Павел, потушив, увидел, что рубаха на нем прожжена во многих местах. Это придало какую-то удаль. Огонь был остановлен,— черная мечущаяся толпа надвинулась теперь плотно и густо. Павел перебежал в другую улицу, где огонь еще шел победно, — ринулся — опять с багром — огню навстречу. И люди опять побежали за ним, — и через минуту уже все закружилось в жаркой борьбе. Трудно было дышать, и сердце больно билось, но Павел носился упруго, птицей.

Его заметили. Да, его заметили. Пожилая суровая женщина в черном платке подскочила к нему с ведерком и закричала, чтобы заглушить шум пожара:

— Испей водицы! Загоришься!

Павел жадно приник губами к холодному краю ведра и глянул на женщину благодарно.

Все в нем вихрилось.

„Пустозвон! Вот это горе! А ты... Что есть ты?“

Людских криков становилось все больше — уже стало слыхать, как звонят где-то недалеко колокольцы пожарных. Вот уже и на эту улицу выскакивают лошади. Света и дыма меньше. Дома и заборы потемнели и успокоились. Павел в изнеможении прислонился к забору. Он с улыбкой смотрел на людей, что стояли вот возле. Вдруг та же высокая женщина в черном платке подошла к нему. Теперь у ней уже не было ведерка. Она глянула Павлу прямо в лицо и поклонилась низко.

— Спасибо тебе, мил человек... Избу-то мою отстоял. Спасибо!

Она еще раз поклонилась. Мужчины и ребята оглянулись на женщину, на Павла, повернулись к ним, подошли, сгрудились. Женщина нараспев и торжественно говорила:

— Ну, думаю, гори, Палагея. Пожарные... нет, штобы в огонь лезть, так они за забор спрятались.

— Где ж? Им жарко! — засмеялись в толпе.

— И вдруг этот молодчик. Прямо в огонь, мои матушки. А они уж за ним, как бараны. Тут и еще народ подоспел.

Она опять поклонилась Павлу.

— Спасибо!

Толпа одобрительно загудела.

Павел стоял ошеломленный, улыбался беспомощно, и такое у него чувство было — вот заплакать сейчас и обнять всех по очереди...

1925 г.

ДИКОЙ

I

На восток от села Красные Горы грядами тянутся увалы, и самый высокий увал, Темная Грива, весь закрылся сосновым бором. Сосны в бору от старости обросли зелеными космами. Красногорские девки зовут эти космы бородой лешего.

Угрюмо и сумрачно на Темной Гриве. Ветер шевелит кроны сосен далеко вверху. Вверху и солнышко светит. А внизу всегда мрак, и пахнет плесенью и холодом.

Вихлявая дорога лениво поднимается на увал, бросается и вправо и влево, отыскивая, где бы пролезть между кремневыми стволами сосен, переливается через кряжистые корни, крепко вцепившиеся в землю, лезет на увал, точно робкий ручеек между камнями. И лишь по верху Темной Гривы дорога бежит прямо, спешит до полянки, что за гребнем увала перед спуском.

Тарантас, подпрыгивая по корням, выехал на поляну. Лошадь остановилась, — словно обрадовалась свету. Мокрые бока у нее вздувались, как мехи. Мужик подошел к лошади и тронул шлею, поправляя. Борода у него заходила в улыбке.

— Доехали! — крикнул он в лес, назад по дороге.

Два голоса отозвались из леса.

— Гей! Гоп! Идем!

И тотчас два рыжих охотника, подпоясанные патронташами, в высоких сапогах и городских картузах, вышли из леса.

— Светец?

— Светец. Самый он. Гляди, светло стало, ровно день догнали. Все озеро — вот оно.

Впереди, за полянкой, в долине между двух увалов, виднелось озеро Светец. Оно протянулось под Темной Гривой внизу, светлое, ласковое, точно улыбающийся глаз. По берегам — сосны, как ресницы, шевелились под ветром. И небо вдали краснело по-вечернему.

— В самый раз доехали. Сейчас у спуска и караулка будет. Вон там.

Мужик показал кнутом вперед. Он взялся за вожжи, тронул лошадь. Вдруг слева в лесу залаяла собачонка и выскочила на поляну. За ней шел молодой широкоплечий парень с ружьем в руках. Мужик придержал лошадь.

— Никак ты, Дикой? Здорово, брат!

Парень, подходя, снял шапку и опять неторопливо надел ее.

— Дома отец?

— Нет отца, — глухо ответил парень.

Он цепко и быстро осмотрел приезжих, тарантас, лошаденку. Его глаза словно прилипали на момент к предмету, на который смотрели. Большие серые глаза, и каждый глаз точно ясное блюдце с черной блестящей бусинкой в средине — зрачком.

— Уехал, что ли, куда?

— Нет, не уехал.

— Где же он? На озеро пошел?

— Нет, не на озеро. Он умер.

У мужика открылся рот в испуге. Охотники переглянулись.

— Да это как же?.. это даже чудно, — забормотал мужик. — Что же ты, елова голова, прямо не говоришь? А мы-то ехали... Вот господа всее дорогу про Петра-лесника разговор разговаривали, как пойдут на охоту, а оно... Да когда умер-то?

— На масленой схоронили. В субботу.

— Хворал?

— Нет. Мужики порубщики из ружья стрелили. В плечо. Вечером стрелили, утром помер. И к доктору не поспели свезти.

— Вот вам и охота, — сказал охотник, тот, что постарше. Он уныло посмотрел на товарища, на возчика.

— Что ж охота? Лес остался. И охота осталась, — вмешался Дикой.

Он глядел угрюмо, этакий неуклюжий, нескладный, обросший ребенькой молодой бородкой, растущей из шеи. Чапан из домотканной ряднины стягивал его дебелые плечи. А ружье в руках казалось маленьким, как игрушка.

— Что ж, поедемте. Раз приехали, не ворачиваться стать.

— Да кто ж места нам укажет?

Дикой опять сказал угрюмо:

— Я укажу.

— Знамо, он укажет, — поддержал мужик. — Он сыздетства в лесу. Он все знает. Первый лесной человек у нас во всей округе.

Проехали по поляне. Там, у спуска с увала, глазами на Светец, стояла караулка — крепкий двухоконный домик с двором, сараями, — сплошь под одной тесовой крышей. Перед окнами — две старых могутных сосны, — будто склонялись ветвями и заглядывали в окна.

Дарья, увидев охотников, засуетилась.

— А-а, гости дорогие, охотники золотые, милости просим, милости просим. Здравствуйте, господин хороший, как же, как же, личность-то мне ваша знакома. В третьем годе у нас были. Как же, не запамятовала я. Только охотник-то наш вот приказал долго жить.

— Слыхали мы, слыхали.

— Извели злодеи злодейские. Извели добра-молодца, чтоб им... А вы пожалуйте... Вот мой сынок теперь все вам покажет, такой охотник, — отцу не удаст. Не глядите, что молчит все.

И, обернувшись к сыну, крикнула:

— Что ты стоишь? Помогай распрягать, тащи госпоцки вещи в избу. У, ведьмедь!

Дикой неспеша поставил к крыльцу свое ружье и неспеша подошел к лошади, возле которой возился возчик. Охотники вошли в избу.

... — Привезли, а из него кровь хлещет ровно из боченка. Я ну-ка заговаривать, — господи, уж своему-то как бы не постараться? Ан, не берет заговор на родного. Не берет, и что хошь делай. Я тогда толченого уголья к ране, гнилушек ольховых толченых, дождевика сушеного прикладывала. Малость и поутихла кровь. „Ну, сынок, — говорю, — запрягай лошадь, надо в село в больницу везти“. Гляжу, а отец-то шепчет: „Не надо везти в больницу. Здесь умру“. Как сказал — умру — тут я ровно голову потеряла. Он зовет Дороню и спрашивает: „Знаешь Николая Конопатого?“ Знаю. — „Это он стрелил“. И не словесеньки больше. Только уж потом говорит: „Дороня, ты полиции не жалуйся, ну ее ко псам. Ты сам...“ Дорофей мой уперся в землю лбом, как волк молчит. А в утреню старик и душеньку богу отдал...

— Охотника-то какого сгубили.

— Что и говорить. Сам лесничий тужил. „Первый, говорит, у меня помощник был“.

Она опять помолчала, возилась возле печки с самоваром. И вдруг, обернувшись, сказала:

— Ну и Доронька-то ведь не удаст. И-и, господи, что было-то. Вот убили. Я и говорю Дороньке: „Иди, проси, чтоб тебя назначили“. Что ж, сам поднимайся, иди, куда хочешь? Доронька молчит. Молчит, как пенек. Вижу: киселю с ним не сваришь. Сама пошла. А лесничий: „Бери, тетка, дело на себя, на твою ответственность. Потом поглядим“. Что ж, месяцу не прошло, сам же лесничий говорит: „Пусть в должность заступает“.

— Вам теперь его женить надо. Парень-то в соку.

— Как же, как же. Уж сколько разов пробовали. Старик кнутом раза два бил: „Женись!“ А он одно слово: „Нет“. Чужой талан скоро растет, а наш ни лезет, ни ползет. Теперь вот сверстался до двадцати годов, а жениться не хочет. Что будешь делать? Отец до смерти месяца за два сапоги ему справил, пеньжак, шапку новою. Уломали, уговорили, вот поехали в село девку смотреть. А в праздник дело. В селе крик, песни. Наш-то вытянул шею, слушает. Только к невестиным воротам, но прыг из саней и бежать. Три дня потом скитался, в угольнице жил, а домой не являлся. Все сапоги избуравил по снегу. Пеньжак в уголье извалял. Уж стыдобушки нам было. Увидали нас у невестина двора, кричат: „заезжайте!“ А как заедешь, ежели жених ровно заяц по полю стегает?

— Ну, а что ж, вы жаловались в полицию на того, кто убил вашего мужа?

— Да как же будешь жаловаться, ежели Петра не приказал?

— Так и живет покойно?

— Нет, его уж нет.

— Где же?

— Кто его знает. Куда-то уехал. Боится будто мово Дороньки... Вот уж сколько месяцев ни слуху, ни духу.

II

Дикой сердито сказал:

— Знаю.

Дарья зашептала раздраженно прямо ему в ухо:

— „Знаю". Много ты знаешь. А ты слушай, что тебе мать говорит. Видала я, как отец твой охотников ублажает. В хороши местя не води. Их про себя оставляй. Поведи, где два, три глухаря воркуют. С них и то будет. А то я знаю. Ты счас на Козий Верх поведешь.

— Не поведу.

— Веди на Бузыгину сечу. Скажи, что там много дичины. Да сам не стреляй. Поодаль ходи. Они дурачки, им и этого хватит. Ну, теперь время, ступай, буди.

Дикой затянул потуже ремень, взял лампочку и пошел в светелку, где, на сене, спали охотники. Через полчаса, тихо разговаривая, они все трое вышли из караулки. Ночь стояла еще густая, под ногами похрустывал ледок, лес молчал, звезды над головами тихонько мигали.

— Куда же ты нас поведешь?

— На Бузыгину сечу.

Охотник обрадовался.

— Ага, вот-вот. Об этой сече я уже слышал от твоего отца. Веди.

Дикой хмыкнул — не то одобрительно, не то насмешливо — и пошел по дороге вниз под увал,

где тьма была еще гуще. Только по шуму шагов Дикого охотники могли узнать, куда итти. Дикой шел легко, как днем, охотники спотыкались о корни, проваливались в ямки, и Дикой досадливо слушал громоздкий шум их шагов. Деревья казались огромными, как горы, вершинами в самое небо.

Охотники спустились в лощину, потом поднялись опять на увал.

— Вот мелятник, — сказал Дикой, — надо кустьев нарубить на шалаш.

Он отошел в тьму, и осторожное тяпанье топора раздалось справа. Охотники ощупью набрали охапки ветвей и опять пошли. На фоне чуть светлого неба порой впереди мелькали двигающиеся громады, — это Дикой тащил нарубленные сучья. С дороги свернули на тропу. Теперь деревья совали ветви прямо в лицо, и надо было итти очень осторожно. Один охотник проворчал:

— Вот, дьявол, куда ведет. Ни зги не видать. Как находит?

Дикой усмехнулся про себя.

„Как находит... Дурачки!“

Ему захотелось повернуться к охотникам и засмеяться им в глаза. Ему вспомнился отец. Отец, бывало, в глаза вот хвалит охотников, вот хвалит, а за глаза про них иного слова нет, кроме дурачки. Правда, дурачки. Веди их, куда хочешь, пойдут. Вот навил на них ветвей охапки. Можно бы и поближе к току нарубить, там тоже мелятник есть. А пусть понесут. Им это лучше: труднее, — подумают, нивесть какой подвиг — на такой охоте побывать, слаще добыча.

— Дошли, — сказал он шопотом.

Деревья здесь раздвинулись, отошли в стороны. Небо стало просторнее. Оно было попрежнему

темное, и звезды блестели на нем, прядая золотыми ресницами.

— Здесь надо строить шалаш. Вот у этой сосенки. Тетерева вылетают сюда.

— Сюда? Много?

— В какое утро штук двадцать...

Дикой нашарил колья, поставил их, и все трое, вполголоса переговариваясь, начали строить шалаш. Можно бы поговорить и громко, но Дикой знал: эта таинственность, этот шопот нравятся городским охотникам.

— Ну, кто останется здесь?

— Я останусь.

„Безусый. Ну, с ним можно“...

И Дикой сказал:

— Смирненько сидеть надо. Бейте, ежели недалеко сядет.

— Знаю, знаю. До свиданья.

„Много ты знаешь“, — усмехнулся про себя Дикой.

— А мы на глухарей? – зашептал другой охотник.

— Что ж, пойдемте. Это еще будет с версту. За болото.

Они — двое – пошли дальше. Деревья опять обступили со всех сторон плотно: надо было руками отодвигать ветви, чтобы они не хлестнули по лицу. Хруст ветки под ногой звучал резко, и будил эхо меж деревьев.

Вот крупный лес кончился. Пошли по мелятнику, продираясь силой. Дикой остановился и сказал охотнику почти на ухо:

— У вас пальто свистит. Идите тише.

— Как свистит? — удивился охотник.

— Свистит. Тише надо.

Охотник послушал. Правда, сучки, задевая брезентовое пальто, свистели: „Всссит. Всссит“.

За мелятником — болото, под ногами захлюпала вода. Но нога не проваливалась: весна успела растопить только верхний слой, а внизу еще был лед. Спотыкались о кочки. Охотник раз упал, вполголоса обругался. Дикой зашипел на него:

— Тише.

Впереди опять встала стена леса. Дикой прошел вправо, вернулся влево, зашептал:

— Сюда.

Оба вышли на бугорок.

— Здесь будем ждать.

Он сел на-земь. Охотник нерешительно топтался возле.

— Фу-у, я взмок, — сказал он. — Еще простудишься. Придется постоять.

— Ружье подложите. Сядьте на ложу, — прошипел Дикой, а сам подумал: „а-а, какой дурак. Может, час придется стоять“.

Охотник нерешительно сел.

Как тихо. О-о, как тихо! Теперь, когда они сидели неподвижно, тишина стала полной, и лишь биение своего сердца слышал охотник. Дикой тронул его за руку и показал к лесу через поляну.

— Утренница, — одним дыханием сказал он.

Над лесом краснела большая звезда.

— Это Венера, — тоже дыханием сказал охотник.

— Молчите. Теперь скоро.

В ближних кустах крикнула во сне пичуга. Левее от Утренницы забелелся край неба, будто помутнел.

— Заря, — продышал Дикой.

— Заря, — дыханием повторил охотник.

Вдруг недалеко в болоте резко тявкнула собака, и потом заскрипело несмазанными воротами: „Тяв. Э-э-э-э“.

— Что это? — продышал охотник.

— Ку-ро-пат-ка.

Тотчас отозвались еще куропатки. Они кричали со всех сторон, громко, резко. Над головами слышался свист крыльев. Большая птица шумно пролетела низко с боку. „Чуфышш“ — издал боевой клич проснувшийся тетерев. Гармонический широкий звук пронесся вдали. Дикой прошептал:

— Журавли.

Он теперь стоял, весь вытянувшись, слушал напряженно.

— Токует, — вдруг прошептал он, — слышите? Глухарь токует.

Охотник снял шапку, слушал долго, напряженно, но ничего не услышал. Только кричали куропатки и вдали токовали тетерева.

— Идемте. Тише.

Ночь бледнела, и деревья теперь отделились от мрака, стояли каждое отдельно. В лесу, под высоким деревом, опять остановились. Тетерева токовали и справа, и слева, и спереди, и сзади. Непередаваемый, единственный, трепетный зов любви. Весь воздух кругом задрожал от сладострастия. То-и-дело недалеко в лесу раздавалось хлопанье больших крыльев и тяжелый лет.

— Слышите? Глухарь.

Теперь охотник услышал странные звуки — будто пощелкивание сухого дерева: „Тэк, тэк, тэк. Тэкэ“... И вслед за пощелкиванием тотчас щебетание: „кичивря, кичивря“.

— Слышу, — сказал охотник.

— Идите. Под песню. Два—три шага, не больше.

— Ладно. Иду.

— Я буду здесь.

Охотник пошел. Он не попадал под песню, с треском ломал сучья и, чем дальше лез, тем, казалось, шумел сильнее. „Э-эх, охотник“, — подумал насмешливо Дикой. Он вздохнул, выбрал поваленную сосну и сел. Делать было нечего. За сколько годов он впервые вот так, простой, сидит в лесу, не выслеживая. Он только слушал. Кричали куропатки, токовали тетерева и глухари, пискнул рябчик, крякнули утки, каждая пичуга кричала по-своему, исступленно, всюду лилась страсть, — звала, поднимала, — все живое будто опьянело от любви. Глухуши с томными громкими криками носились по лесу. Их крики были полны зовущего откровенного сладострастия. Дикой вспомнил: мать вот недавно ему говорила: „Женись. Птицы женятся, звери женятся. Чего ты один, как кочет на базаре?“ Он засмеялся. Странное томление захватило его. Сколько раз он прежде слышал эти птичьи и звериные зовы? О, не сочтешь. И сейчас, — делать нечего, стой, слушай, — он слушал и затомился.

— Э-э, зовут! — подумал он о птицах насмешливо.

Красный свет разлился в лесу. Деревья уже стояли четко, и каждую крону можно было разглядеть на золотом небе. Птицы кричали сильнее. Все звало, любило, радовалось. Недалеко затоковал глухарь, и тотчас тяжелый лет глухуш послышался возле него. Под песню Дикой пошел к глухарю. Он шел скачками. Вот дерево. На суку — видный до последнего пера, весь залитый красным заревым светом — токовал глухарь. Он распустил веером и поднял вверх хвост, голову тоже вверх, струной вытянув шею, и ходил весь напряженно, тэкал — „тэке, тэке“ и щебетал: „кичивря, кичивря,

кичивря". Глухуши летали подле него, квохтали, спускались на землю, звали его, а он, гордый, ходил напряженно по суку, словно хотел продлить сладкую напряженную истому.

Вдруг по лесу прокатился гром. Глухуши стремительно сорвались и полетели прочь, глухарь за ними, захлопал крыльями. На момент все кругом смолкло.

— Э-эй! Ау! — раздался за деревьями человеческий крик — странный, негармоничный, противный всему, что было вот здесь сейчас. Дикой, нахмурясь, пошел на крик. „Эх, охотник". А охотник, шумно ломая ветви, шел к нему навстречу, радостный. Он нес в руке глухаря. Дикого кольнула ревность, — не он, а этот дурачок убил, — но он сразу справился и, как бывало отец, прикинулся недалеким, подобострастным.

— С полем вас, барин, — поздравил он.

— Спасибо, братец, спасибо.

Охотник, посмеиваясь от возбуждения, положил глухаря на землю, полез дрожащей рукою поспешно в карман. Дикой уже знал, что это значит, смущенно отвернулся, и, чтобы спрятать смущение, поднял глухаря.

— Эге, фунтов шестнадцать будет, — сказал он.

— Будет, обязательно будет, — заговорил охотник. — Как он с сучка-то ахнулся.

И уже другим тоном сказал, подавая Дикому синюю хрустящую бумажку:

— На-ка вот тебе.

— Да зачем так много?

— Бери, бери: за такое удовольствие не столько платят.

„А-а, пять рублей. Ишь, богатый".

— А мой-то товарищ, похоже, и не стрелял.

— Раза четыре выпалил.

— О? Я и не слыхал. Вот увлекся.

И охотник опять засмеялся, довольный.

Они пошли назад. Из-за леса уже глядело солнце. „Гоп-го-оп!“ — крикнул охотник. „Гоп-го-оп!“ — отозвалось недалеко. Другой охотник сидел на бугре, недалеко от шалаша. Он развел костер, грелся. Возле него лежали два убитых тетерева. Очень торжественно они поздравили один другого. Дикой, опустив глаза в землю, слушал их и смеялся про себя: „Охотники!“

Уже выбрались на дорогу, когда в бору, у озера, раздался звон. Медленно, раздельно и мягко звонил колокол.

— Что это? — спросил молодой охотник.

— В скиту звонят.

— Скит? Здесь? В такой глуши?

— Да. Монашки живут.

— Одни?

— Одни. Что ж, забор высокий... Кто их тронет?

III

Весна пришла буйная, полыхающая. Сосны и ели пошли буйно в рост. В бору стоял сплошной треск: лопалась верхняя толстая кора на деревьях, сила поперла изнутри во все стороны. И сам Дикой — ровно деревцо молодое: потягун тянет его во все стороны, корежит, аж кости трещат, истома, как бес, зудит во всем теле. А сны по ночам такие, никому не расскажешь... Мать только головой качала.

— Ой, Доронька, жениться тебе надо. Вишь, как бес тебя тянет. Чевой-то спесивишься? Аль я тебе не мать? Аль я тебе добра не хочу? Сходил бы к девкам в хоровод, поглядел бы, да выбрал бы какую. Аль хошь, я сама тебе усватаю?

Но Дикой этак басом, нехотя:

— Не надо мне жениться...

— Може, подсмотрел сам? Так чего ж ты, говори, чего стыдишься?

— Не подсмотрел я.

И чтоб не говорить про это стыдное, Дикой шапку на голову, ружье на плечи и был таков. Да где, нешто уйдешь? Во всем лесу на каждом суку свадьба, под каждым листом свадьба, — все поет, орет, дерется, возится. Выйдет Дикой на Светец, а на отмелях, в старой почерневшей осоке, полупудовые щуки бесстыдно трутся одна о другую, а поменьше щучки — так враз штук по пяти. И сазан тут же, не гляди, что у него такие сонные глаза, — и у сазана свадьба. И, опьяненные любовью, всякий страх рыбы забыли. Дикой посмотрит, посмотрит, снимет с плеча ружье, вложит патрон с жеребьями свинцовыми и — трах! — в самую свадьбу. Убитые щуки выплывут белым брюхом вверх. Бери их и тащи домой. Бывало, Дикой ждет не дождется такой поры, — весной бить щуку из ружья на отмелях. Ныне — утеха не утеха.

Все утро бродил Дикой по лесу, смотрел, слушал. Тварь последняя — комар какой-нибудь! — гляди, трубит, радуется солнышку, погожему дню. А Дикого томит истома, томит — взял бы палчину, палчиной бы всех.

— За что?

— А не за что. Так. Хочу бить и бью. Дьяволы!

Только к дому, а у ворот мать стоит, завидела издали, рукой машет:

— Иди скорее. Где ты пропадаешь? Ждем, ждем.

Угрюмый, едва волоча ноги, подошел Дикой к матери. Мать зашептала горячо, и глаза у нее стали строгие:

— Иди скорей, матушка Нимфодора ждет, просит отвезти ее в Красные Горы. Запрягай.

Дикой нахмурился. Эти монашенки надоели ему,—попрошайки!—не даром же их так ругал отец бывало. Да нешто откажешься? Скажи-ка слово,— мать накриком закричит.

— Колеса не мазаны, — сказал он угрюмо.

— Эва, не мазаны. Вчера мазал. Аль забыл?

Матушка Нимфодора на крыльце сидит, толстая и расплывчатая, будто копна, вся в черном, лишь белое крупичатое лицо луной глядит из черной монашеской повязки.

— Вот и молодой хозяин заявился, — запела она, заулыбалась. — Бог милости прислал. Здравствуй, здравствуй, лебедик. Здравствуй. Эк, молодец-то какой. Ну, как такого молодца не женить? Надо, надо его женить.

А Дикому совестно: и эта о женитьбе.

Мать заставила Дикого нарядиться. В красной рубахе на выпуск, в длинной — на двенадцать пуговиц — жилетке, в высоких сапогах, в черном картузе с блестящим козырьком, он стал новым. Льняные волосы расчесаны, глаза большие, как серые ясные блюдца с черной дробинкой в середине — глядели смущенно. Одно Дикому нехорошо: тревожили пустые руки.

— Ну, молодец, молодец, — похвалила Нимфодора. — Дай бог здоровья. Это что и говорить. Молодец. И сапожки новые опять справили? Когда успели-то?

Нимфодора осмотрела Дикого со всех сторон, словно покупала лошадь. Дикой смутился. Он поспешно схватил вожжи, чтобы скорее прицепить к чему нибудь руки.

— Сапоги-то? Вот намедни справили, — ответила мать. — Охотники приезжали, Доронька водил их, дали пятерку. Вот и справили.

И вдруг, сделав строгое лицо, приказала Дикому:

— Заночуешь у Силантьевых. Пока матушка Нимфодора псалтырь читает, ты подождешь ее.

Матушка Нимфодора полезла в телегу, и телега жалобно заскрипела под ней.

— Ты уж, матушка, похлопочи, — просила мать.

— Похлопочу, похлопочу, не сумлевайся. Молись только богу, чтоб хорошую подыскать. А то что ж... похлопочу.

„О чем это они?“ подумал Дикой и подозрительно посмотрел на обеих. „Не о невестах ли?“

Матушка Нимфодора уже сидела идолом на телеге и крестилась торжественно, когда проезжали в ворота. И мать крестилась.

И всю-то дорогу Нимфодора говорила без умолку.

— Благодать божья. Лесок-то. Пустынька-то. Всяк злак поет хвалу господу. Вчера вышла я на сечу, а пролесочки вот как цветут, зяблики поют, букарки из щелок вылезли... А тебе, Дорофей, беспременно жениться надо. Ты хоть что там ни говори, а семьей обзаводиться надо. Ты теперь один поилец-кормилец. Молодому мужику как без бабы? Мое дело монашеское, как я теперь в ангельском чину, не хорошо бы мне говорить про это, ну, раз просит Дарья, — придется... Есть у меня на примете. Вот поедешь, увидишь. Лукерьей зовут. Сибиркина. Девка — прямо столб столбом, здоровая, толстая, хоть на снегу с ней спать ложись и то тепло будет.

У Дикого дрожали руки, и ему совестно было глядеть назад, на Нимфодору, и чуял он:

раскаленный зной дует от ее слов, дует прямо в затылок, мутит голову.

„Монашка, а говорит о чем".

— Не мое дело мешаться, — словно угадывая его мысли сказала матушка, — про небесное мне надо бы думать. Ну только вся твоя семья нашему скиту добро делает, вот я уж и согрешу для тебя.

Она повздыхала, поглядела вокруг, раздумывая, и сказала:

— И то сказать: не согрешишь, не покаешься. Так-то, милый мой, так-то.

Проехали последний увал. В долине показалось село Красные Горы. В белой церкви, что виднелась на пригорке, звонили к вечерне. Справа заходило солнце, и красным светом заливало и село, и дальние поля. Над прудом на ветлах оглушительно орали грачи.

— И здесь свадьба, — криво усмехнулся Дикой.

Дом у Силантьевых двухэтажный, весь будто в кружевах — в резных наличниках и подзорах. На коньке — задорный петушок с вытянутой шеей, с распущенным хвостом, словно токующий глухарь.

Встречать гостью вышел к воротам сам Силантьев, — столбина этакий, рыжая борода лопатой, волосы на две стороны избушкой расчесаны, по староверскому исконному обыку.

— Пожалуйте, матушка. Милости прошу. Еще вчера вас поджидали.

Закудахтала мать Нимфодора:

— Не могла приехать вчера. Сорочины матери Манефы были... Ныне вот.

На широком дворе, под навесом, Дикой начал распрягать лошадь. На дворе все крепко и хозяйственно. Закута для овец, хлев для коров,

лошадиные стойла, — все сделано с запорами да с замками. Мать Нимфодора, окруженная бабами, поползла наверх. Силантьев подошел к Дикому.

— Как ты вырос, Доронька. Дождики что ли тебя часто поливают?

Дикий хмыкнул, улыбнулся и не нашел, что сказать.

— Теперь ты за лесника?

— Я.

— Надо будет мне с тобой об одном дельце потолковать. Бывало с твоим отцом сладу не было, дурашливый покойный был... Уберешь лошадь, приходи чай хлебать.

И повернулся, попер к крыльцу, огромный, три складки на затылке, спина, как стена. Дикой сердито смотрел ему вслед. Вот ступеньки крыльца жалобно заскрипели под Силантьевыми ногами.

Итти в дом ему не хотелось: он смущался. Но приятно было, что вот сам Мирон Иваныч зовет чай хлебать, Мирон Иваныч — первый богатей в селе. Дикой привязал лошадь к телеге, положил ей сена, снял картуз, пригладил ладонью волосы, одернул рубаху. „Что ж делать-то?“ Вдруг на крыльцо вышла девка и крикнула:

— Дорофей!

Дикой удивленно посмотрел на нее. Его кличет? О-о, какая девка! В розовом платье, большая, грудастая, с белым полным лицом. Он молча, растерянно смотрел на нее; девка пошла к нему.

— Что ж молчишь-то? Тебя Дорофеем звать? Ну, иди чай пить. Папенька приказал.

Она смотрела на него бойко, глаза у нее смеялись, зубы блестели. Она подошла вплотную. Тут Дикой заметил: девка была чуть ниже его. А глаза — вот будто выше, смотрят сверху. И глаза спеленали Дикого.

— Что буркалы выпучил? Аль узоры на мне?— смешливо крикнула девка. — Иди в дом, там чаем тебя угостят. Ну?

Она повернулась, пошла к крыльцу, оглядываясь на Дикого, — смеялась. Дикой, как связанный, шел за нею, вытаращенными глазами смотрел на ее бока, — платье вот-вот лопнет под напором упругого тела, — и странный, необыкновенный запах шел от девушки, — ни птицы, ни лес, ни цветы так не пахнут. На лестнице, снизу, Дикой увидел ее ноги в белых чулках, круглые, стройные... Отворяя дверь, она еще раз оглянулась. Ватными ногами, не чувствуя себя, вошел за ней Дикой.

Среди горницы стол стоял, весь запруженный блюдами, тарелками, чашками. Ведерный самовар царствовал среди стола, и пар вился над ним. Графинчики с водкой и две темные бутылки приютились с краю, против матери Нимфодоры. Женщины, все повязанные платочками, сидели вокруг. Все слушали молча, вздыхали, неторопливо пили чай. Старуха, сидевшая около самовара, кивнула Дикому головой и шепнула:

— Садись, садись, молодец.

Мать Нимфодора говорила:

— Лежат грешные души, лежат под землею и под морем за грехи своя, в темницах адовых лежат до второго и грозного пришествия господня, вниз лицом лежат, левая рука под грудью, а десная к нам протянулась, слезы льют кровавые, молят нас, помогли бы милостыней и молитвой, пока можно, до суда второго господня...

Дикой сел, плохо различая, что перед ним, боясь опрокинуть стол. Ему казалось, руки у него длинные-длинные, их некуда девать. Он был рад, что все смотрят в рот Нимфодоре, а не на него.

— И жалуются господу на своих родных, кои их не поминают, — певуче говорила Нимфодора,— и глаголют сице из глубины своея сердечные: О, господи, господи, пошли ты беды на наш род. Аще они имеют поле с хлебом, то градом побей. Аще скот имеют, то мором умори. Аще дом имеют, — огнем сожги. Аще торговлю имеют и имение, то обери их, господи. Аще пчел имеют, то не даждь им доли пчелиной. Воистину говорит писание: мертвые у врат не стоят, а свое возьмут.

„И здесь пугает“, — подумал Дикой.

Сколько раз эти же слова Нимфодора говорила у них в караулке. Как что нужно выклянчить, придет и начнет стращать...

„Вот сейчас про сторицу скажет“.

Привычные слова будто успокоили Дикого. Он осмотрелся. Теперь он видел каждое лицо отдельно. На всех лицах плыла строгость, и даже девочки маленькие смотрели на монахиню в испуге.

— Тем же, кто поминает родителей своих умерших и сродников своих, умершие молят: господи, воздаждь им продолжение лет и всякого исполни домы их. Седмерицею и сторицею.

Матушка Нимфодора вдруг открыла широко глаза, точно проснулась, глянула на стол, взяла с тарелки крашеное куриное яйцо и, потрясая им, торжественно сказала:

— Вот подадите вы здесь одно яйцо, а на том свете получите сто яиц. Так все воздастся вам старицею.

Она оглядела всех торжествующе и замолчала. Все шевельнулись. Напряжение сползло с лиц. Старуха налила чашку чаю и поставила перед Диким. Все глаза посмотрели на чашку и уперлись в Дикого.

— Вот благодетеля потеряли мы доброго, — сказала Нимфодора, — Петра-то лесника, отца-то вот его. Уж и доходчивый до нас был, — и сказать неможно. Что ни попроси, все сделает. И сын-то весь в него. Что и говорить, хорошая семья.

И по-деревенски, напрямки она заговорила о Диком при нем же.

— Парень-то хороший, что и говорить. Только вот мать не женит никак. Уж я обещала ей помочь. Настя, ты сведи-ка его ныне в хоровод, покажи ему Лукерью Сибиркину. Вот бы ему самая подстать невеста.

Дикой запылал от стыда, наклонился над блюдцем. Девка в розовом платье, смеясь, смотрела на него, говорила:

— Что ж, я сведу, пожалуй. Вот и Минька пойдет с нами. Мы ему покажем невесту.

— Покажи, Настенька, покажи.

Насилу допил чашку Дикой, — пот градом лил из-под волос по лицу. А, допив, поставил чашку на блюдце вверх дном, огрызок сахару положил сверху на донышко, пробасил:

— Благодарим покорно.

Старуха закричала:

— Пей еще.

Но Дикой поспешно поднялся и закрестился на иконы, словно хотел поскорее отделаться, чтобы не приставали с таким мучительным чаем.

Трое — Дикой, Настя и Минька — вышли за ворота. Дикой шел, как пленник. Настя говорила что-то ему, зубоскалила. Минька ее поддерживал. Смеялись над Диким.

— Это тебе не лес. Здесь молчать не полагается. Девки подумают, что ты немой. А какая пойдет за немого?

Она глядела Дикому прямо в лицо, теребила взглядом.

— Слышь, на горке уже поют.

Да, поют. Песня издали казалась мягкой, красивой. У изб на завалинках сидели бабы и мужики, всматривались пристально в Дикого, узнавали.

— Никак Доронька приехал? Здравствуй, Доронька. В каравод, что ли? Дело гожее, погуляй.

— Э, да у тебя знакомо все село, — засмеялась Настя.

— Все в лес ходят, — сказал Дикой.

И этот простой ответ почему-то сразу прогнал его смущение.

— Ты, поди, все места знаешь? Сводил бы меня за грибами когда.

— Приходи. Свожу. Я знаю.

Теперь он шел рядом с нею, просто, улыбался ее улыбкам, смотрел на ее косу, на голубой бант в косе. И вдруг решительно сказал:

— Скоро ягоды. Приходи.

— Ладно. Я приду.

Вот и последняя изба. Перед ней хилая ветла наклонилась, и колодец с шестом. За избой выгон, на выгоне горка вся пестрела платьями, рубахами, сарафанами, платками. Широкий двойной круг — девушки и парни — в такт под песню ходили, пели про молодца и девицу. Минька взял за правую руку Дикого, втолкнул в цепь, другой парень схватил Дикого за левую руку, и потащили его, распевая во все горло. И глаза у всех были круглые и пьяные от возбуждения.

Она лееен пряаалааа...

И Дикой, будто вихрем схваченный, трубно запел:

Веретенцо золотое, донцо-то серебряное.

Кружение, топот, мелькание перед глазами радужных сарафанов, девичьи лица — зовущие и здоровые — словно бесовское радение взмыло Дикого. Он почувствовал себя ловким и сильным, как в лесу.

Выходила тут девица
За воротички.

Девки разом приостановились, подхватили парней под руку, и пошли дальше, распевая. Настя держала под руку Дикого. Смеясь, она пела ему прямо в лицо, и по ходу песни целовала его раз, два и три... Прямо в губы.

„А-а, вон она какая!“

Уж ты, миленький ты мой,
Голубенок золотой.

Она жалась к нему, смеялась, увертывалась, когда Дикой хотел обнять ее покрепче, грозила пальцем и пела, пела исступленно. И от ее исступленной песни красный пожар вихрился в голове и в груди Дикого. В горелках он ловил только ее. Девки смеялись, парни подкашливали, чихали, присвистывали, шутили грубо, а Дикой лез прямо, напролом, без хитростей. Настя задорилась, смеялась вызывающе. Она видела, как горят глаза у парня.

— Ты бы вон за Лушкой погонялся, — смеясь показала она Дикому на высокую, сильную девку.

— Охота была, — беспечно ответил он и улыбнулся во весь рот, — ты лучше всех.

Настя так и рассыпалась звонким смехом.

... Из села уезжали утром, в коровьи табуны. Солнце поднялось из дальнего леса. Куры покинули дворы, бродили по выгону. Грачи попрыгивали между ними. Там и здесь куры вступали

с грачами в драку. Мужик с косой через плечо шел к лугу за травой. Река дымилась белым паром.

— Господи, хорошо-то как, — стонала Нимфодора, — земля твоя, господи, как рай пресветлый. Видал, что ли, Лукерью, Доронюшка?

Дикой вспыхнул, будто монашка ударила его кнутом по спине.

— Видал.

— Хороша девка. Вот бы тебе усватать.

— Не надо.

— О? Аль не понравилась? Господи Исусе, да чем это не понравилась?

Дикой не ответил.

— Може другую нашел лучше? Ты скажи.

Как ни допрашивала Нимфодора, Дикой не ответил. Ответил только матери на расспросы настойчивые, и то дня через три.

— Какую же тебе девку сватать? Скажи же Христа ради. Чего молчишь, как пенек?

— Настасью сватай.

Мать удивилась.

— Какую Настасью?

— Силантьеву.

Мать молча с открытым ртом долго смотрела на него. И вдруг сердито плюнула и рассмеялась.

— Тьфу, прости господи. Да ты очумел? И скажет же! Ну прямо ты Дикой. Первого богача дочь, а он вот — выложь ему. Да ты кто такой есть? Какие твои доходы-капиталы, чтобы Силантьев за тебя дочь отдал? Тьфу, тьфу, дурак ты этакий!..

Под смех и руготню матери Дикой вскинул ружье на плечи и ушел из караулки. „А-а, вот что. Богачка! А-а, — богачу ее? Кому же?“

И широко шагая, он думал, кто этот богач. Кто? Попадись он теперь, Дикой угостил бы его из ружья свинцовыми жеребьями, как волка.

Все повалилось из рук у Дикого. Как неприкаянный, днями и ночами бродил он по лесу. Вечерами ходил к Красным Горам. Издали слушал, как поют в хороводах. А зайти — было стыдно своих лаптей, посконной рубахи. И кружил волком около села. В воскресенье, через неделю, похудевший и истомившийся, он тайком от матери утащил в лес сапоги, рубаху, принарядился, пошел в хоровод. Настя, увидев его лихорадочные глаза, рассмеялась.

— Вот он, ухарь-то лесной. Что долго не приходил? А я-то ждала, ждала, все глазыньки проглядела.

Она насмешничала. В кругу она выбирала только его. Парни затеяли пляску под гармонию, и Настя заставила плясать Дикого. Нелепо перебирая ногами, махая руками, как крыльями, он плясал, выкрикивал. Парни и девки гоготали. Он понял, что Настя над ним смеется. Нож кольнул его в сердце. Он обиженно отошел в сторону.

— Что ж ты не пляшешь? Пляши! — крикнула Настя.

Он пристально глянул на нее. У ней в улыбке сверкнули белые зубы. И вся она была, как птица. И Дикой опять заплясал — нелепый, растерянный.

И уже на рассвете, возвращаясь домой, он — затуманенный — всюду видел ее задорное румяное лицо, ее бока, тугую, высокую грудь.

И тут он почуял, что женщина устроена как-то по-особенному, необ‘яснимо. И затомился весь, каждой частицей своего здорового тела.

К матери — лесничихе Дарье из села, из деревни привозили баб лечить. Мать лечила

наговорами, травами, умела править кости. Когда привозили баб, мать усылала мужа и Дороньку в лес. Дикой помнил: маленьким он видел, как мать лечила. Он помнил обнаженные тела баб и девок. Но тогда он их не чуял, как почуял бы теперь.

В эти дни в караулку привезли бабу с чуть вздувшимся животом. Мать приказала Дикому уйти в лес. Он ушел в лес, но тотчас же вернулся к забору, лег в бурьян и стал смотреть сквозь щели во двор. Среди двора мать постелила ватолу, вернулась в избу и, крестясь, вывела на крыльцо больную — всю голую, лишь крест на черном гайтане болтался на груди. Лесничиха вела ее через двор, крестилась. Другая старуха, должно быть сноха или мать, шла вслед. Между двух старых, одетых в темное и грязное, больная была стройна. Лесничиха приказала больной встать на четвереньки.

— Встань, встань, матушка, как коровы стоят.

Больная встала. Лесничиха долго молилась на восток, аминила. Другая старуха сурово стояла в стороне. Голое стройное тело молодой бабы сверкало на солнышке. Лесничиха подошла к ней, взяла за ноги и подняла, поставив больную на руки, ногами вверх. Больная охнула. Дикой вскочил и зверем понесся в лес.

... Еще неделя прошла, еще, еще. Уже накатилось лето. Дни стояли жаркие. Часто собирались грозы, долго гремели над лесами, над полями; каждый вечер над самыми дальними увалами полыхали зарницы. Мужики говорили:

— Слава богу, грозовое лето будет, ядреное.

И ждали хорошего урожая. В лесу на полянах и на сечах высыпало красное сукно земляники. Монахини в ските уменьшили службы, — все дни

теперь проводили в лесу, собирая душистые ягоды. Девченки, ребятишки, девки, бабы толпами ринулись в леса. Мать заметила: каждое утро на заре Дикой с ружьем уходил куда-то.

— Куда ты, Доронька, ходишь?

— Выводки есть, — смущенно отвечал он.

Он шел из караулки к озеру, но за первыми же деревьями круто повертывал и бежал к селу. Прячась в траве у околицы, он высматривал. Девки, бабы, девченки толпами шли по росистой траве. Настасьи не было. Но вот он увидел и ее. Одетая в поношенное платье, повязанная беленьким платочком, — она шла, покачиваясь, вся задорная. Красный туесок висел у нее на сгибе левой руки. С Настей шли четыре девки. Дикой поднялся из травы, они уже скрылись в лесу. Он побежал вслед. Он дрожал. Бессознательно он снял ружье с плеча, держал его в обеих руках, будто гнался за зверем, готовый каждый момент выстрелить. Впереди меж деревьев мелькнуло красное, белое, синее. Девки перекликались. Сильный запах стоял в лесу. У Дикого пьяно раздулись ноздри. Он знал: это пахнут девки. У него кружилась голова. Он шел бесшумно, прятался за деревья. На сече у Павловой ямы девки нашли ягоды, — тут дружба врозь: каждая полезла в свою сторону. Настин беленький платочек замелькал далеко в стороне. Настя, нагнувшись, рылась в земляничнике. Около нее хрустнула ветка. Настя испуганно выпрямилась. Дикой стоял возле, с ружьем на плече, все лицо у него кривилось в улыбке.

— Ай, леший, чтоб тебе пусто было, напугал! — засмеялась она, — откуда тебя окаянный принес?

Едва разжимая челюсти, Дикой сказал:

— Места покажу... иди...

— Да ягодов-то и здесь много. Аль там больше?

— Бо... больше. Много.

Настя засмеялась и крикнула подружкам:

— Эй, девки, идите. Дикой здесь. Места хочет показать. Ягод много. Ау, девки!

Никто не откликнулся. Настя была в нерешительности.

— А это далеко?

— Нет. Вот за оврагом.

Он задыхался.

— Что ж, пожалуй, пойдем. Ну, только ты мне помогай собирать.

— Я-то... помогу. Иди вот так.

Он показал рукой. Настя пошла вперед. С сечи вошли в лес, в лесу — овраг. Теперь Дикой шел рядом. Настя, дойдя до оврага, сломя голову, побежала вниз крикнув:

— Ау, лови!

Дикой догнал ее уже на дне, заросшем густой высокой травой. Он отбросил в сторону ружье, схватил ее за плечи. Она засмеялась, оглянулась и вдруг отшатнулась испуганно:

— Ты... что ты?..

Дикой поднял ее легко, будто пойманную тетерку, и положил в траву. Он знал, как играют звери и птицы.

... Уже давно выбрались из оврага, шли по лесу. А Настя все плакала. Дикой шел за ней. Вдруг она остановилась, злобно швырнула туесок в траву, прислонилась к сосне и завыла громко, на весь лес:

— О-о-о, что ж теперь буду делать-то?

Дикой крякнул, страдальчески поглядел на нее, не знал, что сказать. Настасья выла. Дикой неторопливо стал собирать рассыпанные ягоды и опять клал их в туесок. Собрал, подал Насте туесок.

— Не плачь. На... тебе... ягоды.

— У, дьявол, лешман. Что же ты со мной наделал?

Она выхватила туесок у него из рук и со всей силой кинула ему прямо в лицо. Красные ягоды брызнули во все стороны. Дикой присел, ошеломленный ударом. Он почувствовал, как теплая кровь полила у него из носа. Когда он оправился, оглянулся, Насти уже не было. Он подобрал туесок, поправил на плече ружье и нога за ногу побрел к озеру, долго купался, а после нехотя пошел домой. Его томили темные предчувствия и чего-то было жалко. Туесок он спрятал в траве у забора. Незаметно он прошел двором на сушилы, поправил ватогу и лег спать. Он видел, как мать ходила по двору. Он притаился, заснул, но проснулся тотчас.

„Что делать-то буду?“ — вспомнил он плач Насти. Со двора слышалась песня — пела мать протяжную, старинную деревенскую песню. А Дикому казалось, это Настин стон. Он стал слушать. Грохот телеги раздался в лесу недалеко. Кто-то скакал по дороге. Дикой почувствовал, как у него забилось сердце. Он отодвинулся в темный угол, где его не было видно. Дымка залаяла, бросилась на кого-то. Телега остановилась у ворот, и в тот же момент во двор прыжком вскочил сам Мирон Иванович Силантьев в высоких начищенных сапогах, в картузе, в красной рубахе, с кнутом в руках. Лесничиха шла ему навстречу. Она заулыбалась, закланялась. Силантьев, высоко подняв кнут, ринулся к ней и заревел:

— Где он? Где он, злодей?

Старуха в испуге подняла руки.

— Кто? О ком ты, батюшка?

— Сын твой! Злодей! Убью!

Он схватил картуз с головы и ахнул его наземь. И кнут вместе. И вцепился себе в грудь и опять заревел, растрепанный, исступленный:

— Зарезал! Без ножа зарезал! Где он? Дай мне его! Я его скручу, подлеца. Дай!

Он вбежал в караулку, было слышно, что-то с грохотом там опрокинул, выбежал во двор, пнул изо всей силы Дымку, отчаянно лаявшую на него. Лесничиха, растерянная, смотрела на него.

— Да что ты, батюшка? Сбесился али как?

Силантьев кинулся к ней.

— Сбесился? Да, сбесился, чортова колдунья! Давай сына, сейчас говори, где он?

Он налетел на старуху с кулаками.

— Не знаю, батюшка. Да что с тобой-то?

— А, ты не знаешь? Выростила сынка. Выростила каторжника. Всех в остроге сгною.

— Украл, что ль, он у тебя что?

— Украл? Чего там украл! Он девку... Наську мою испоганил. В лесу. Счас вот. Девка ни жива, ни мертва. Невеста! Женихи какие сватались. А теперь куда ее? Ну, куда ее? Солить? В огорцы класть?

Старуха сделала шаг, другой от него назад, и, схватившись обеими руками за голову, вдруг присела.

— А-а-ах, батюшки!..

И с‘ежилась, влипла, как гриб в землю, лицом вниз.

Силантьев забегал вокруг нее.

— В каторгу запячу. Я вам покажу, каторжникам. И тебе, старая ведьма, попадет. Ты у меня будешь колдовать да людей морочить. У!..

Он выл, метался. Старуха поднялась с трудом, покачиваясь.

— Батюшка, что делать-то будем? — стонала она. — Что делать-то будем?

— Ну, старуха, берегись теперь. Еду прямо к приставу. Жди гостей ночью. А с ним я еще увижусь.

Он выскочил за ворота, и тотчас там загремела телега. Мать села на траву, покачивая головой. И вдруг, точно ее кто толкнул, она вскочила, побежала под навес, выкатила телегу, вывела лошадь и торопливо начала запрягать. Потом спохватилась, побежала за ворота, закричала изо всей мочи:

— Доронька-а! Доронька-а!..

Бегом вернулась в сени, сняла со стены охотничий рог, побежала за ворота, принялась трубить, так она вызывала иногда Дикого из леса. Запряженная лошадь испуганно прядала ушами. Дикой молчал, притаившись.

Мать вернулась в избу, недолго побыла там и вышла поспешно в темном сарафане с белыми рукавами — в своем праздничном наряде. Она взяла кнут, поправила вожжи, собираясь садиться в телегу. Дикой вылез из сена и по лестнице стал спускаться вниз. Мать, как остолбенелая, смотрела на него. Дикой подошел к ней. Она взмахнула кнутом и ожгла сына через голову вдоль спины.

— Окаянный! Погубитель! Что сделал!

И ударила еще. Дикой молчал.

— Молчишь? Ну, молчи, молчи. В остроге вот еще помолчишь...

Она торопливо села в телегу, подобрала вожжи, крикнула:

— Отвори ворота.

Дикой поспешно отворил ворота.

— Не смей отлучаться. Жди меня! — крикнула мать и поскакала по дороге к скиту.

В лесу было тихо, и грохот телеги слышался долго-долго. Дымка подошла и кинулась Дикому на грудь.

— Подожди ты, — сказал Дикой и сел у ворот наземь. Его будто измяли.

Уже солнце село, уже упала густая роса на траву, закричали совы по обрывам над озером — Дикой все сидел, ждал, слушал. Он издалека услышал, как под‘езжала телега к караулке. Правила лесничиха. Дикой поднялся.

В телеге сидела матушка Нимфодора и сама игуменья скита Измарагда. Они косо глянули на Дикого, обе строгие, суровые. Мать поспешно зажгла лампу, гостьи молча вошли в избу. У игуменьи в руках был узелок — в узелке крест и книга, — их положили на стол. Лесничиха торопливо зажигала лампады у икон. Игуменья надела черную бархатную скуфейку, всю обшитую белыми крестами и словами молитвы по краю: „Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас“. Дикой стоял у притолки — он боялся дышать.

— Вот он. Вот, матушки, вот. Делайте с ним, что хотите. Головушки не приложу, не придумаю. Спасайте, матери.

Игуменья строго оглянулась на Дикого. И Нимфодора оглянулась. Дикой не узнал ее лица, всегда такого ласкового. Лицо было строго.

— Грех твой велик, Дорофей. Девку испортить это непрощеный грех, — строго сказала игуменья.

— На всю жизнь вашими рабами будем, только спасайте. Только спасайте, матери, — в отчаянии сказала лесничиха, — крест снимем, на крест поклянемся.

— Встань на колени, Дорофей, — приказала игуменья.

Дикой встал на колени. „К чему ж это“? Он плохо понимал, что происходит.

— Ежели уладим, то будешь ли ты исполнять, что попросим? — спросила игуменья.

— Будет, будет, — вмешалась мать.

— Буду, — угрюмо сказал Дикой.

— Ну, теперь встань, поцелуй крест вот, евангелие. Будешь исполнять?

Дикой поцеловал. И вдруг выпрямился, посмотрел на монахинь сердито:

— А Настасья-то как?

— Что Настасья? — удивилась игуменья.

— Она-то... вы ее мне усватайте.

— Молчи, молчи, злодей. Не твое дело, — закричала мать, — нашел свах. Ух ты, беспутный!

Старухи, молча, все три торопливо собрались, сели в телегу и уехали.

... Вот удивился народ — и в Красных Горках, и в деревнях во всей округе, — когда у Силантьевых затеяли свадьбу в самую страдную пору, возле Ильина дня, — отдавали замуж старшую дочь Настасью за лесника Дорофея. Сбесился, что ли, Мирон-то Иваныч? „Хоть, говорит, и небогатый зять, зато башка и при месте“. Ну, свадьба так себе вышла, только один вечерок и гуляли, — да и то сказать: некогда, всех поле зовет, огород зовет, день прозеваешь — год потеряешь. В такую пору не нагуляешься.

И всю-то дорогу после пира, когда ехали молодые в свою избу, в лес, молодая плакала, не осушая глаз. А Дикой сурово молчал.

IV

Не пересчитать, сколько раз Дикой видал, как птицы устраивают свои гнезда. И Настасья была похожа на птицу, так же хлопотала, устраиваясь. Выскоблила и вымыла всю избу; поставила свою кровать, широкую хоть для троих, застелила ее тканьевым одеялом — белым с голубыми цацами, похожими на цветы; из-под одеяла до самого пола выпустила подзор с широкими самовязными кружевами; над кроватью прибила занавес из голубого ситца. Зеркало повесила Настасья в простенке, — под зеркалом столик накрыла вязаной скатертью. Шкапик с посудой примостила у стены, из шкапика весело глядели кобольтовые кузнецовские чайные чашки и белые ложечки. Графин, окруженный рюмками, словно серая куропатка птенцами, высоко поднимал светлое горлышко; на каждой рюмке золотела надпись славянской вязью: „Пей другую“ или „Умный проспится, — дурак никогда“.

И, развешивая, пристраивая, Настасья хлопотливо спрашивала:

— Маменька, где поставить это? Где повесить это?

Дарья отвечала ласково, жалеючи:

— Вот здесь, доченька, повесь. Вот здесь, доченька, поставь. Здесь вот местечко будет.

Дикой молодым сычом гукал про себя, радуясь, что самка устраивает гнездо. Он ходил вокруг двора, полный энергии, — вот взял бы гору и своротил. Бывало с утра до вечера он в лесу, — ныне точно приклеили его ко двору. А в избу боялся войти, чтобы не помешать Настасьиной работе. То-то радости у зверей и птиц бывает, когда они устраивают гнезда. И удивлялся же

Дикой, когда в самый разгар Настасьиных хлопот он услыхал из избы громкий плач. Он торопливо заглянул в окно. Настасья сидела за столом и плакала источно. Дарья стояла над нею беспомощная, держала ее за плечи, утешала: „Ну, будет, будет, доченька, будет“. Дикой вошел в избу.

— Об чем она?

Мать сурово махнула ему рукой.

— Уйди. Тут дело без тебя обойдется.

Настя, не поднимая головы, плакала. Дикой переступил с ноги на ногу.

— Ступай же, леший! — крикнула мать. — Чего встал?

Дикой повернулся и вышел на крыльцо. Он ничего не понимал.

— Не плачь, доченька, не плачь. Судьбинушка твоя такая, что же делать? Не убивайся, красы своей не теряй, красы-пригожести. Слюбится, стерпится, обойдется.

Дикой долго слушал Настин вой, недоумевая, тревожась.

Потом Настя затихла, всхлипывая. Дарья вышла на крыльцо, сумрачная, с надвинутым на глаза платком.

— Что с ней? — спросил Дикой.

Мать зашептала:

— Тоскует. Стала вешать занавески, глядь, — велики, не по нашим маленьким окнам. Нешто о такой она жизни думала, когда приданое готовила? Заплачешь...

Дикой вдруг запыхтел оскорбленный.

— А-а, богачка... Я ей...

— Ты помолчи-ка, — строго остановила мать. — Знамо, ей чудно. Из такого дома к нам. Понимать надо. Потом все обойдется. Только по-хорошему теперь бы пошло. А ты днем ей поменьше на

глаза показывайся. Чевой-то ты бросил дело? Ступай в лес.

Дикой ушел далеко в лес, выбрал маленькую полянку, лег в траву и лежал неподвижно часа три, — так неподвижно, что тетерки с цыплятами приходили к нему вот близко, рылись, как квочки рылись на дворе. Он весь кипел от непонятной обиды. „А-а, богачка"! Назад он шел, когда уже смеркалось. Ужинали вместе. Мать ласково собирала на стол, пыталась шутить, и Дикой заметил: Настя больше тянется к ней, чем к нему. Дикой сердито таращил глаза, молчал. После ужина, когда мать ушла в светелку, Настя постелила на полу простенькую постель, чтобы не мять парадной большой постели, Дикой начал нерешительно помогать ей, их руки встречались в темноте, он гукнул, схватил ее за руки, она попыталась вырваться, но, сломленная его страстью, засмеялась... В темноте они возились, будто два веселых зверя.

Днем же у Насти опять хмурилось лицо, точно она опять была недовольна нищетой.

Днем Дарья прогоняла Дикого в лес:

— Иди, принеси молодых тетеревков. Хоть дичиной утешить ее.

А сама глаз не спускала с невестки, говорила безумолку, точно говором пыталась прогнать ее тоску. В субботу она сама запрягала телегу, и обе поехали в скит.

Скит видать с увала. Между темных сосен мелькали белые стены и тесовые крыши келий. Золотой крест сиял над крышами в вечернем солнце. Уже звонили. Мерно и тягуче пел колокол, медное пение разносилось далеко по вечернему притихшему лесу, по молчаливому озеру. Кого зовет он? Или велит подумать о чем? И под

звон женщины ехали молча. Обеим почему-то не хотелось говорить. Только слушать.

Черная монахиня-привратница с поклонами встретила их у ворот.

— Бог милости прислал.

А ворота с белыми каменными столбами, белой аркой. Большая икона Спаса-Ярое-Око темнеет на арке. Перед иконой горит лампада, как тихий пунцовый глаз.

Монахиня степенно, неторопливо, какими-то раз заученными движениями отворила скрипучие ворота. Как чисто на дворе! Как просторно! И какой порядок! Деревянные дорожки тянутся через весь двор от келий к моленной, к трапезной, к сараям. Дорожки чисто вымыты и кажутся ясными среди изумрудной зелени. А колокол все звонит. На низенькой деревянной звоннице виднеется черная монахиня, звонарка. Смиренно склонив голову, она раз за разом дергает веревку колокола. По дорожкам, едва постукивая каблуками, идут в моленную черные монахини. Игуменья Измарагда вышла из келии, стоит черная, высокая, дожидается, когда к ней подойдут гостьи. Настя подошла смущенная, руки-ноги связаны робостью.

— Здравствуйте, мои милые, здравствуйте. Как раз во-время, к службе поспели.

Она кланяется гостям по-монашески низко, и еще ниже кланяются гостьи. И за игуменьей идут в моленную, робко ступая по деревянным дорожкам.

В моленной черными рядами уже стояли монахини. Игуменья и гости широко, по-староверски крестясь, поклонились в землю на широкие, расшитые гарусом, подручники. Головщица запела. И хором запели все высокими голосами, то тягуче печально, то с радостной торопливостью. А у

черных икон тихо теплются лампады и свечи и пахнет во всей моленной росным душистым ладоном, воском, сухими цветами и чистотою, нигде неслыханной.

Служба кончилась поздно ночью. Усталые Настасья и Дарья пошли за монахиней в трапезную. У монахини в руках свеча, она освещает путь гостьям. О-о, как тихо. Ночь черная. Звезды далеко вверху. Шаги звучат гулко. И слышно — шелестит длинная монашеская одежда. В трапезной уже приготовили постели. Пунцовые и синие лампады перед иконами светят тихо. Старинные большие часы неторопливо говорят: „Чи-чи-чи-чи". Монахиня перекрестилась.

— Спите с богом. Завтра к утрени разбужу.

И ушла. В тихом разноцветном полумраке гостьи разделись и легли.

— Господи, благодарю тебя, что вот есть еще места, где такой порядок, — сказала Дарья. — Бывало, молодая-то, уйдешь из дома сюда, вот как отдохнешь. Дома тараканы, грязь, ругань. А скит раем покажется. Ни тараканов тебе, ни блох. Господи, чистота какая. На том бы свете мне хоть такое вот местечко отвел господь, как у них будка у ворот. Я бы все сидела на лавочке и в окошечко глядела. Ох-хо-хо, огня вечного боюсь. Ты гляди-ка, Настасья, гляди. У них дверь и то шпалером оклеена. Рай ведь, рай господний!

И Настасье—усталой и умиленной—все в самом деле кажется необыкновенным, как в раю. Иконы в углу, картины по стенам: „Житие Марии Египетской", „Искушение мниха диаволом", коврики, половики.

Утром их разбудили до света. Опять тишина двора, запах яблоков из сада, дыхание осеннего леса, неясные стуки шагов, и торжественное

пение в моленной, и земные поклоны... И о чем-то хочется плакать и радоваться.

Уже днем, далеко за полдень, после хорошего обеда, уезжали гости домой в караулку. Сама мать игуменья со всеми сестрами провожала их за ворота. И долго перекликались.

— До свиданья! Христос с вами! Приезжайте на родительскую!

Дарья и Настя видели, как монахини, проводив гостей, долго молились на все четыре стороны и поворачивались все вместе, точно по команде.

А Дикой в томлении, без сна, провел всю эту ночь. И гукнул от радости, когда снизу, из-под увала, поднималась на гору телега с нарядной Настей.

Вечерами в будни из Красных Гор и из ближайших деревень привозили больных. Больше это были дети и беременные женщины. Дарья заговаривала болезни, вспрыскивала святой водой, поила травами и четверговой золой. И Настя с любопытством присматривалась к Дарье, расспрашивала, как лечить, отчего, и Дарья говорила с ней откровенно, как ни с кем, учила.

Ушло Успенье. Лес заугрюмел. Бабы с кошелками доходили до самой караулки за орехами. Заходили и подруги Насти. Говорили наивно:

— Как у тебя хорошо. Ты ровно в скиту живешь.

А Настя завидовала им — свободным, — и плакала уже потихоньку. Приезжали из города и с ближней мануфактурной фабрики охотники, шумные, всегда полупьяные, ночевали на сушилах, уходили из дома в полночь, — и с ними было совестно встречаться: они смотрели на Настю откровенно, грубо шутили, и Настя была каждый раз рада, когда они уезжали.

К сентябрю выяснилось: Настя забеременела. Она стала еще спокойнее, плакала еще меньше, иногда днем мирно говорила с Диким, чего раньше не было,— крепче дружила с Дарьей и все допрашивала ее:

— А не страшно, маменька, родить? А не умру я?

... Осень — самое беспокойное время для лесника. Мужики управились с полями, с огородами, надо запасти дров на зиму, леса на постройки, починки. А как запасти? Пойти в лесную контору? Но там надо заплатить рубль, два, три. Лес же ничей, божий,— легче украсть. И ночами они ехали в лес самыми глухими дорогами, рубили, пилили, увозили. Дикой ловил их, отбирал лошадей, тащил в контору, в сельское правление. Он не спал суток по двое под ряд, мок под дождем, а когда приходил домой, забирался на печь и спал весь день, как убитый, до сумерек. В сумерки Дарья будила его:

— Иди, Доронька, гляди, по проскуровской дороге ныне поедут.

Откуда-то она знала, по каким дорогам ныне мужики поедут. Дикой слушался, шел на проскуровскую дорогу и в самом деле ловил порубщиков. Он, как и все в округе, верил, что его мать колдунья.

Раз после беспокойной ночи он проспал весь день на печи, проснулся уже в сумерки от тихого говора. Он глянул сверху. Дарья и Настя сидели в горнице за столом, Настя шила. Дарья вязала чулок. За окнами хлестал дождь.

— Какая колдунья, — сказала Дарья и засмеялась,— в господа бога верю, в святых — верю. Колдунья — это с дьяволом знаться надо. А я супротив дьявола иду, с молитвой каждое дело делаю. Не колдунья я. А что̂ люди болтают, — пусть их. Колдунья так колдунья.

И опять рассмеялась, хорошо так, и от смеха что ли тепло стало и откровенно. Настя сказала:

— Не колдунья, маменька, а лечишь вот.

— Это от хорошей силы у меня. Прозренья бог дал. Сызмальства это. В роду у нас так. От бабушки, от маменьки. Маменька моя огневая была, не рыкнула, не зыкнула, а везде поспела. Вот какая была. Ну, и я пошла в нее. Сурова была да верткая. По крестьянству лучше меня девки не было, — колотила, молотила, веяла, убирала. Грамотой неграмотна, зато памятью памятна, чего услышу, все запомню, как в сундук к себе положу. Что к чему, зачем да почему, — все бывало мне надо знать. А бабка моя говорит: „Э, девка, да ты золотая, ну-ка я тебе свою силу отдам“. И зачала мне заговоры передавать, с голосу песням учить, аль в поле поведет — травы укажет да расскажет. Ну, и любили меня все. Шутить была мастерица, шутками да дурками всех расшевелю. Грубого слова не слыхала: бедный сказать не смел, богатого сама обожгу. Ох-хо-хо, время-то как бежит.

Она помолчала. Дикой боялся пошевельнуться: никогда мать с ним не говорила так напрямки.

— А пришло время, — замуж пора. Богачи сватались. А я подойду к человеку, гляну ему в глаза, поговорю часок с ним: „нет, не иду за тебя, плохой дух у тебя“. Мать сердится, отец сердится: „Какого тебе жениха надо?“ А я не знаю какого. Пошла однова в лес за травами, у кривого дуба стоит лесник Петрушка, молчит, смотрит на меня, а сказать ничего не смеет. Я тут на него. Вроде игрушка он мне. Думала пошутить, а пал он мне на сердце, судьбинушка пришла. Отец с матерью ругать: „Зачем за голяка идешь?“ А я: „Пойду!“ Что ж, прилюбится, и ум отступится. Так и прожила век.

— А лечишь ты как?

— Да ведь что ж, лечу. Человек не больно хитрый зверь. Погляди на него попристальнее — все узнаешь. Вот глядела я на тебя, глядела,— хорошую жизнь ты проживешь, малость побесишься, а потом — дети да работа, и придет счастье крепкое.

— А побешусь? — спросила Настя, смеясь.

— А как же? Мы, бабы, не без того. Только поскорее бы на дорожку тебе выйти, не сбиться бы... Ох, грехи, грехи. Надо Дороньку будить. Темнеет. Зима идет...

V

... Пришла и прошла зима. У Настасьи родилась девочка, и после родов Настасья вдруг зацвела, стала еще пышнее.

— И-и, матушка моя, тебя и цитвар-травой поить не надо — грудь-то у тебя ровно на дрожжах поднимается,— одобряла Дарья.

— А какая это цитвар-трава?

— Такая,— попьешь, и грудь будет сильно расти.

И больше заглядывались на Настасью охотники. И что-то мельник Боголюбов зачастил, тревожа Дикого. Раз днем Дикой возвращался из леса в караулку. Он шел шагами неслышными, и только вышел на поляну,— глядь, у ворот шарабан боголюбовский.

„Эй, чевой - то зачастил“, — подумал Дикой о мельнике.

И, ломя прямо по траве, он пошел вдоль забора, насторожив уши, точно крался к добыче. Во дворе разговаривали.

— Неужели же я такой паскудный, что вы и притить не хотите ко мне, Настасья Мироновна?

Это мельник. Это его стелющийся голосок. Дикой весь напрягся, слушая, остановился. И припал к щели. Настасья стояла на крыльце —

в ситцевом белом платье, большая, с туго обтянутой грудью. Перед ней, возле крыльца, стоял мельник в пиджаке, в сапогах бутылками. Он стоял спиной к Дикому. Дикой видел его широкую спину, его круглую лысину на маковке меж рыжих кудрявых волос... Мельник махнул картузом и сказал:

— Ну, была ни была, повидалась. Решайте.

Настасья засмеялась. У Дикого остановилось дыхание. „Ишь, стерва, смеется".

— И намедни обещали притить, а обманули. Али вам шелковый платочек не хочется получить?

— Узнает Дикой, он такой шелковый платочек задаст...

— Откуда ж он узнает? Лес да небо, да земля матушка только и знать будут. А я бы вас у Пяти-Братцев подождал ныне бы вечерком.

— Дикого-то куда денем?

— Дался вам Дикой. Его теперь с собаками не сыщешь. Он на охоту, вы ко мне. Так и быть, я бы, кроме шелкового платочка, еще подарочек приготовил. Для такой крали как не разориться?

Настасья опять засмеялась. И в смехе была радость,— это почуял Дикой. Он молча снял ружье с плеча и по привычке, как делал каждый раз перед выстрелом, осмотрел замок, спуск. Ружье было заряжено, готово к выстрелу.

— Как солнце к лесу, так и поспешайте. До Пяти-Братцев рукой подать. Я жду. Не обманете теперь?

— Да уж чего же...

Она не договорила, глянула в калитку, а там стоял Дикой. Настасья выпрямилась и замерла. Мельник оглянулся. Дикой шел прямо на него. Мельник засмеялся, взмахнул картузом, как ни в чем не бывало, пошел навстречу Дикому.

— А-а, Дорофей Петрович, как жив-здоров? Долгонько тебя поджидаю. По дельцу заехал к тебе.

Дикой остановился среди двора, обеими руками вцепившись в ружье. Он хмуро глянул на сытое, толстое лицо мельника, искал, куда влепить заряд. А мельник все смеялся, и это было нелепо: он смеется — в него стрелять. Дикой опустил ружье: „Застану на месте".

— Все на охоте пропадаешь? — стелил ласково мельник.

И руку подал Дикому.

— Нет, не на охоте, — сказал Дикой, — мужичишек караулил. Лес... воруют.

— Воряги известные. Так вот я по дельцу к тебе. Отпустила мне контора двадцать корней сосновых. Будь другом, выбери уж сам какие получше. Никто у нас не знает так дерева, как ты. Вот записка тебе...

Дикой взял записку. Все в нем дрожало, вихрилось. Он ничего не ответил. Он подошел к крыльцу, устало сел на ступеньку. Он не понимал, о чем говорит мельник. А мельник, кланяясь, уже выходил за ворота. Вот он сел на лошадь, поехал. „Пуль-то нет, надо зарядить".

К полдню из скита пришла Дарья. Она сразу почуяла: между сыном и невесткою легло недоброе. Они не говорили, они не смотрели один на другого. Настасья все как-то норовила вжаться в угол. И за обедом промолчали все время. Ребенок плакал надрывно, и Настасья все с ним, с ним. Дарья смела со стола крошки, вымыла посуду, понесла помои свинье и тут заметила: сидит Доронька у крыльца на чурбашке и режет жербеечки из свинца. Он резал озлобленно, стиснув зубы. Дарья дрогнула.

— Аль на лосей собрался? — спросила она.

— На лосей.

„Врет“. И сразу заметалась. „Чтой-то будет?“ Ей почуялась человечья кровь на этих жербеечках свинца. Чья кровь? О ком думает Доронька? На кого злобится?

Но виду не показала, отнесла помои, была у закуты долго, думала, как быть. И торопко вернулась в избу.

— Кто ныне был-то у нас? — спросила она Настасью.

— Будто никого не было.

— Ой, девка, был кто-то. Чую. Дух чую чужой.

— Кажись, мельник приезжал к Дорофею.

„Вот что. Мельник?“

Дарья вышла на крыльцо. Дикой усердно вколачивал свинцовые жеребья в патрон. У него туго сжались челюсти, а под скулами виднелись желваки. „Это на мельника он. К чему бы? Не Настасья ли зашалила?“

Старуха прикинула: „в воскресенье приезжал — в самую обедню, когда никого дома не было, кроме Настасьи. Третьего дня опять был и что-то долго гуторил с Настасьей во дворе. Вот оно,— не спроста“.

— А ты, Настасья, нынче с ним не говорила?

Настасья ответила нерешительно:

— Н-нет.

— Нет, говоришь? Так, так.

И вышла к Дикому.

— Доронюшка, что говорил тебе мельник-то?

Дикой сосредоточенно, злобно сказал:

— А поди вон у той суки спроси.

И большим пальцем левой руки показал на окно, где виднелась Настасья.

— Он все с ней лясы точил.

Старуха замерла в испуге. „Мать пречистая, отврати!“ Она посидела возле сына, не зная, что делать, как предотвратить беду. Дикой поднялся, ухватил топор из сеней, пошел за забор, к дровам, и яростный хряст послышался оттуда. Дарья метнулась в избу. Настасья, увидев ее, отвернула лицо, сжалась. Старуха подошла к ней и зашептала:

— Убить хочет! Убить!..

Настасья ничего не сказала. Она сидела, опустив голову. Лицо у ней запылало багрянцем.

— Что молчишь-то? Ну? Говори, что было. Улещал, что ль, он тебя?

Старуха дышала шумно, и прядь седых волос выбилась у ней из-под платка. Теперь это была настоящая ведьма. Настасья молчала.

— У-у, лешманка. Чего молчишь? Я ведь все знаю. Чего обещал он тебе? Платок шелковый?

Настасья вздрогнула, наклонилась ниже, и слезы поплыли у нее по щекам.

— Ну, знамо, платок. Ах, подлый, ах, каторжный. На что глупое бабье сердце ловить мошенник может. Ой, горюшечко наше! Вот польстисси платочком, а потом мучайся мукой всее жизнь.

Голос у нее стал жалостливый. Она стояла перед Настасьей, смотрела на ее слезы и качала головой.

— Что у вас... целовал, что ль, тебя мельник-то, аль дальше было что?

Сквозь слезы Настасья ответила:

— Ни... ничего не было.

— Да застал Доронька вас за чем? Он-то чего куражится? Ведь убить хочет. Аль не видишь?

Настасья расплакалась.

— Он... он звал меня... к Пяти-Братцам... обещал платок... шел... шелковый... и... гостинцев.

— Платок? Гостинцев? А не знает, негодяй, что муж приготовил свинцовых гостинцев? Ерник он этакий, паскудник. Убить бы его надо. Вот за платок собьет нашу сестру с пути истинного, а потом майся весь век. Сколь несчастных от этого. И ты бы плакала, и Доронька бы в Сибири был, и все бы плакали. Вот он, бес-то похотливый. Эх-хе-хе-е...

Она помолчала.

— А ты будет плакать-то. Что ж, слезами горю не поможешь. Ничего не было? Ну, и не плачь. А беду мы отвратим.

Дикой прошел по двору. По размашистой походке было видать, Дикой зол и не находит себе места. Он сел на бревно под сараем и тотчас встал, вошел на крыльцо, взял из угла ружье и опять вышел во двор. Дарья подошла к нему и спросила просто, глядя сыну прямо в глаза:

— Мельника убить хочешь?

Дикой отшатнулся, поднял левую руку, как будто хотел защититься от удара. С суеверным ужасом он посмотрел на мать. „Колдунья!“

— Убей, убей. Что ж, убей, Доронюшка,— тихонько заговорила Дарья,— таких паскудников надо со свету сживать. Д-а, гляди-ка, за платчишко какой он хочет всю семью порушить. Обхаживает, улещает, словно дьяволы ему пособляют. Убить, убить негодного!..

— И ее! — сурово выкрикнул Дикой.

— А ее-то за что? Нешто она поддалась?

— Она... сказала: „Ладно, приду“.

— Сказала? А, подлая. Знамо, и ее поучить надо. Это мы после поучим. Сперва с тем справимся. Сперва мельника поучить надо. Эк, моду взял и девок и баб во всей округе портить, сюда

добрался. Нет, брат, шалишь, не на таковских напал. Мы тебе покажем пути.

— А-а, убью! — заревел Дикой.

Злоба, душившая его весь день, теперь прорвалась.

— Убить, убить изверга! — кричала старуха, пронзительно кричала, словно хотела перекричать сына.

Дикой заметался по двору. Старуха стояла на крыльце. В избе плакал ребенок. Вдруг другой плач — резкий и высокий — послышался из избы. Дикой метнулся было на крыльцо, но старуха властно его остановила:

— Постой-ка, постой. Простынь сперва.

... Готовились к убийству весь день. Дарья сказала:

— Я с тобой пойду. Надену Настькин платок и пойду. Его тогда легче будет взять.

Дикой злобно кивал головою.

— Легче.

— А може только поучить? Все равно, дознаются, кто убил, тебя в острог посадят. Куда пойдет Настасья с малым дитем? Вот копили, гоношили хозяйство, чаша полная; а тут сразу — все прахом.

Дикой удивленно таращил на нее глаза.

— Поучить лучше. Ежели убить: дознаются, тюрьма, прахом все. А ежели поучить,— то-то смеху по округе пойдет. Ему и неповадно будет.

Весь день в крутяге прошел. Перед закатом старуха, одетая, как молодая, шагала к Пяти-Братцам. А сторонкой за ней шел Дикой... Они видели, как по дороге, погоняя жеребчика, верхом спешил к Пяти-Братцам мельник...

... А поздно вечером этого жеребчика Дикой отвел в самую чащу к Павловым ямам и там, на поляне, привязал. А в мельниковы сапоги насыпал

полно песку и бросил их в Светец. Утром набежали девки, мужики.

— Что ж ты, Дикой, спишь? Мельника у тебя в лесу обобрали. Лошадь отняли, одежу отняли. Самого к сосне привязали, голого. Как есть всего комары в кровь искусали... И грех, и смех.

VI

В скиту сколько молебнов отслужили — благодарила лесничиха господа, что отвратил беду. Даже игуменья Измарагда удивилась, и однажды вечером, после служб, в своем покое за чаем допросила:

— Да что это у тебя, Дарья, или беда большая была?

— Большая, матушка. Думала, что конец пришел, всей моей семье прахом итти.

Игуменья искоса глянула направо, налево, нет ли кого поблизости, отослала Груньку послушницу, что вертелась здесь, и наклонилась черной головой к Дарьину уху:

— Какая беда-то была? Ты бы мне сказала.

В ангельском чину игуменья, а вот — женщина, все-то ей знать нужно. И Дарья, как на духу, — и про мельниковы улестительные слова рассказала, и как Настасья душой смутилась, и как Доронька свинцовые жеребья готовил. У игуменьи глаза от удивления выросли по целому пятаку:

— Так никаких грабителей не было?

— Никаких, матушка, никаких. Это я уж сама сказала мельнику: „Говори, что лихие люди". А то бы сраму не обобрался, да и нам беспокойство.

Игуменья качала головой.

— А мы-то боялись. Батюшки, как боялись. На семь запоров запирались.

И вдруг понизила голос, спросила шопотом:

— Как же теперь?

— Теперь, благодаря бога, ничего. Похоже, опять затяжелела. А будет еще ребенок, дурь-то из головы уйдет вовсе. Баба что? Баба еще без причала,— мечется, а есть причал сидит смирненько. Успокоится, свекует век. Вы уж, матушка, поласковее с ней, ежели придет. Богом вас прошу. Жалко мне ее. Нешто на лесную жизнь она готовилась? Уж я иной раз и согрубила бы ей, ан вспомнишь про судьбину про ее, и промолчишь.

— А ты привози-ка, привози ее к нам, пусть погостит, о грехах человечьих, о соблазнах подумает. Хорошо ей будет...

И Настасья будто в стенах каменных заперлась. Стена — свекровь колдунья, стена — муж угрюмый, стена — лес и безлюдье, стена скит с матерью-игуменьей велеречивой, с монахинями ласковыми. Заглянул бы в мир через стены через эти, да сил не хватает. Порой — чаще это бывало в ненасытные дни, когда перед окнами качались под ветром мохнатые ветви сосен, а по небу вдали над лесом ленивыми коровами тянулись тучи — порой всплакнет Настасья, сама не зная о чем, а свекровь тут как тут, поет сумрачно, но ласково:

— А ты потерпи-ка, потерпи, девага. Потерпи еще годочек, другой, такая жизнь будет, — на зависть всем.

Что ж, колдунья правду говорила. Четырех лет не прошло,— все рукой сняло с Настасьи, будто всю жизнь вот только и собиралась она, что лесниковой женой быть. Четыре года — четыре ребенка, и, гляди, пятый в ходах. Пищат, кричат, шумят, гляди только за ними, а на что другое

и оглянуться некогда. И уже нет пышной парадной постели с подзорами,— смято-перемято все, а занавески, что были когда-то лишними, ребятам на рубашонки пошли.

Дикой поугрюмел еще. Еще в плечах раздался,— этакий могутный столбина стал, бородищей зарос по самые глаза, и походка у него твердая стала, уверенная, и всегда,— вот кто только его ни видел,— всегда Дикой с ружьем ходит. Ходил намедни корову покупать на базар в Стратоново — с ружьем, весь базар насмешил...

Мужики в Красных Горах, в Коровине, в Стратонове, во всех окрестных деревушках диву давались, когда спит Дикой. Ночь-полночь поезжай в лес — прямо ему в лапы угодишь. И тогда не моли, не проси,— прямым путем в лесную контору и к уряднику.

И не пробуй ускакать. Был случай: поскакал один, а Дикой в него из ружья выпалил лошадь насмерть зашиб. И ничего ему не было за это.

Зубами скрипели мужики на Дикого. Волю бы — так бы и с‘ели с костями-потрохами.

Веснами и осенью приезжали к Дикому охотники, как, бывало, приезжали к отцу. Он скоро выучился по-отцовски льстить им в глаза и измываться, когда охотники уезжали.

— Повезли трех тетерей. То-то в городу наскажут. Мы-ста на охоте были. Как же? Трех тетерей застрелили... Никак раз сорок пальнули, а попали в трех. Охотники! Пока зайца бьют, быка с‘едят.

— Неужто все охотники липовые?

— Все. Только один Иван Карпыч Харитонов, пожалуй, на стрелка похож.

— Хорош?

— У-у, лучше моего стреляет. Раз стоим у костра — уже кончили охоту — вдруг селезень над нами, вышина — сажен сорок, не меньше. Он прицелился — бах! Селезень винтом вниз прямо к костру. Хочь жарь. Эх, и ружье у него. От дяди досталось.

И никого из охотников не любил Дикой. Только Дениса из Красных Гор терпит — с Денисом дружба. Денис — подстать Дикому: огромный, большебородый, неразговорчивый. Они вдвоем били лосей, уходили далеко в увалы, за Светец, пропадали по неделе и больше, ночуя в лесах, в болотах, выслеживая осторожного зверя. Это они зовут лосей говядиной: „говядина гуляет", „говядина молодые ветки об'ела". Привозили порой сразу лося по два, по три, привозили, хоронясь, солили лосиное мясо в кадушках, и хватало его до самого великого поста. От каждого убитого лося Дарья увозила частицу в скит, Дикой знал об этом и молчал. „Пущай, еще застрелю".

Пришла война, но и война не тронула Дикого.

— Война далеко, до нас не дойдет.

Так же умирал осенью и воскресал весной лес, улетали и прилетали птицы. Плодились, грызлись и умирали звери. Лес, как стена, отгораживал от мира все желания Дикого. Одно угнетало Дикого: это больные бабы и мужики, что приезжали лечиться к Дарье. От них остро пахло болезнью и потом. Они стонали и жалобами наполняли избу. Дикой, когда приезжали, угрюмо одевался и уходил в лес.

А Настасья... Настасья полнела, дурнела, ходила постоянно беременной, забыла песни, и ей уже казалось, что живет она в караулке давно, давно и что ей здесь хорошо.

Так жизнь ни шатко, ни валко — год за годом.

Однажды — это было в канун лазарева воскресения, поехала Дарья с внучатами в скит ко всенощной,— хотела пробыть и вербное там. Настасья довольна была, что спровадила ораву, прибраться хотела, и только в лазарево утро завозилась,— глядь в окно: Дарья назад едет. Настасья в испуге на крыльцо выбежала.

— Что ты, маменька? Аль несчастье?

Дарья рукой погрозила.

— Погоди-ка ты, погоди, девага, после говорить будем. Где Доронька-то?

— Дома он. Да штой-то ты не говоришь-то?

Степенно, не торопясь, Дарья распрягла лошадь, вошла в избу, и тут только шопотом сказала невестке и сыну:

— Царя-то сверзли.

Настасья тупо посмотрела на старуху, не зная, несчастье это или что. Про царя всю жизнь и говору не было. Сидит где-то царь, ну, и пусть его сидит.

— В скиту радуются. Щепотник был. Табашник. Гонитель на древлее благочестие.

И понизила голос:

— Только мать Неонила плачет: „Ой, к добру ли? Хоша какая голова, все голова, а как без головы будем?"

И опять громко:

— Беда. И не разберешься, что оно и к чему.

Дикой погладил бороду сперва левой рукой, потом правой (жена и мать по этому знаку знали, что он волнуется), и сказал:

— До нас это не доходно. Мы — в лесу. Далеко.

— Гляди, как бы не дошло. Надо бы с'ездить в село, узнать, что теперь будет.

Настя вызвалась, с'ездила сама.

— Все радуются. Говорят, войне конец теперь, землю дадут, лесу всем дадут. Федька драный и то радуется: „теперь, говорит, винополию скоро откроют“.

— Лесу дадут?— спросил Дикой.

— Лесу. Кому сколько надо, столько и дадут.

— Это из каких же запасов?

— Уж не знаю, из каких, а только всем, будто, дадут.

Дикой упер глаза в пол, думал долго, гладил обеими руками бороду, и когда уже Настасья и Дарья заговорили о другом, он вдруг крикнул:

— Не может того быть!

— Что не может? Об чем ты?— удивилась Дарья.

— Не могут мужикам вдоволь лесу дать. Он тогда весь лес сгубит. Разе мужик может понимать, какая есть лесная хозяйства? Он счас весь строевой лес повалит. Повалит и будет держать его у двора до той поры, пока бревна сгниют. А потом на дрова.

— Ты вот про что. Ты молчи-ка. Мир радуется, а ты один не хочешь радоваться.

— Мужика пусти в лес, он хуже скотины. Все испортит.

А на святой, в пятницу, когда уже все отпьянствовались, свалив главный праздник, Дикой, обходя лес, увидел: у Сухого дола, по краю, срезаны три молодых сосенки.

И след вот недавно,— видать проехали две телеги. Дикой заскрипел зубами от злости.

— А-а, дьяволы. Весной воровать? Весной?

Ему было досадно, что срубили неразумно, весной, в пору роста, когда никто, даже воры, не рубят леса. И потом: если уж весной рубят, что же будет по осени? Он принял это как за

оскорбление. И день и два ходил будто опущенный в воду. Ванюшка увидит его, к нему, — за чапан уцепится, а Дикой — рукой его от себя:

— Уйди-ка ты, сынок, уйди, не мешай.

И, чуть перекусив, опять к Сухой балке.

И поймал. Поймал сразу троих. Неторопливо порубщики подпиливали сосны, разговаривали громко, как на своей делянке. И не испугались, когда Дикой с ружьем вышел прямо на них из-за деревьев и строго крикнул:

— Вы что это делаете?

Он ждал: мужики заторопятся, побегут, будут нахлыстывать лошадей. Но мужики только переглянулись, выпрямились, все трое весело зазубоскалили. Крайний мужик — Серега Комягин— в ситцевой розовой рубахе, затараторил:

— Дорофей Петров, здорово. А мы тебя все поджидали. „Вот, говорим, счас явится. Вот зашумит".

Дикой стоял ошеломленно.

— Да вы это что делаете?

— Аль не видишь? Лес рубим.

— По какому праву? Кто вам дозволил?

— Теперь без дозволенья. Аль не слыхал? Теперь революция. Бери, сколько кому надобно.

Комягин поглядел на Дикого в упор, нагло.

— Живешь ты, Дикой, в лесу, ничего не слышишь.

Дикой шагнул к нему, взял за грудь, за новую рубашку, тряхнул. Мужик комом полетел на землю.

— Не тронь. Правов не имеешь! — разом заорали другие мужики.

Дикой молча подошел к ним, наотмашь ударил в лицо кулаком первого, протянул руку за другим, но тот увернулся, побежал. Дикой нагнулся

к мужикам, сгреб обоих вместе и сел на них. Мужики орали, ругались.

— Стойте, миляки... я... вам... покажу права... Лес рубить?.. А-а!— озлобленно цедил сквозь зубы Дикой и крутил мужикам руки веревкой. Третий мужик поспешно ехал по лесу, нахлестывая лошадь, задевал осью за деревья и, уже скрывшись, издали кричал:

— Подожди, идол, мы те бока-то намнем!

Дикой посадил связанных ругающихся мужиков в телегу, привязал к задку и, усевшись рядом с ними, поехал в Красные Горы.

Ускакавший мужик уже поднял булгу в селе. Праздничный разряженный народ высыпал к околице. Пьяные мужики орали:

— Будя! Поизмывался! Прихвостень барский! Сейчас же отпусти мужиков. Куды везешь? К уряднику?

Дикой спокойно смотрел на них,— разве мало его ругали, бывало?

Он ехал молча сквозь орущую пьяную толпу. Кто-то заступался за Дикого.

— Верно, Дикой, вези их в правление. Каку моду взяли — лес воровать. Ежели свобода, так и воруй?

— А ты что, за прежние порядки стоишь?

В толпе заспорили. Дикой под‘ехал к волостному правлению. Толпа, оглушительно споря, стеной двигалась за ним. Над крыльцом правления развевался красный флаг. Безногий солдат вышел на крыльцо. Дикой привязывал лошадь к столбу. Он не обратил внимания на солдата. Он искал старшину, писаря. В правлении их не было. Дикой спросил у старика-сторожа:

— А где старшина?

— Эка, хватился. Его по шапке давно турнули. И писаря. И урядника.

Дикой тупо смотрел на сторожа.

— Это как же?

— Да так. Прогнали и боле нет ничего. Теперь мир — хозяин. С миром разговаривай. Вишь, как шумят. Гляди вот-вот подерутся.

Дикой погладил бороду левой рукой, потом правой, помолчал, подумал:

— Мир — хозяин?

— Хозяин. Теперь все хозявы. Все делить будут.

Сторож сердито рассмеялся:

— Уже три раза дрались. Не поделят никак. Гляди, и сейчас подерутся. Тут и об тебе говор был. Одни кричат, надо тебя прогнать, другие — оставить,— хороший ты сторож. Не знаю, чем кончится.

Дикой молча поправил ружье на плече, вышел на крыльцо. Мужики и бабы с ревом наскакивали друг на друга. Лошадей с краденым лесом уже не было. Дикому грозили кулаками. Он, придерживая ружье, прошел через толпу и ушел из села.

— А-а, хозявы? Та-ак!— бормотал вслух он.

И ему казалось, что лес теперь погиб. Не заходя домой, он пошел в контору, за двенадцать верст. Там был только мальчик писарь, потерявшийся от страха.

— Каждый день ждем, что мужики придут и убьют. Уже грозили. Лесничий со всей семьей уехал в город.

— Да как же лес теперь?— крикнул Дикой.

— Ну, лес. Самим бы живым остаться. А лес... лес еще вырастет...

— Вырастет? Когда вырастет? Когда нас не будет? Эх ты...

Этот день будто ошеломил Дикого. Забросив дом, он ездил по лесным караулкам, спрашивал,

как теперь быть с мужиками-порубщиками. Лесники отмахивались рукой.

— Пусть рубят. Нас бы не трогали.

И говорили, что в соседнем лесничестве мужики разгромили две караулки, убили лесника, что теперь все казенные леса поделят на делянки мужикам, что мужик теперь хозяин леса.

— А земля?

— А земля теперь ничья. Земля божья.

— А кому же принадлежит?

— Мужику.

Опустошенный, растерявшийся возвращался Дикой из поездки. Он выбирал самые глухие дороги, боясь встретиться с порубщиками... Он знал, что если встретится, не утерпит, будет ругаться, стрелять.

И, как бессильный зверь, забился в караулке.

Дарья стала сама выходить на дороги, пыталась усовестить мужиков. Мужики дружно ругали ее старой ведьмой, колдуньей, и рубили лес кто сколько хотел. В мае вместо старосты по новому положению выбрали Силантьева. Дикой обрадовался: „Теперь не допустят порубок". Собрался было к нему поговорить, но тесть приехал сам, сразу на трех лошадях, на роспусках.

— Покажи-ка, Дорофей, какие дерева-то будут покрепче да поскладнее.

Дикой аж плюнул от ярости и не стал разговаривать. Потом пошли с фронта солдаты. Лес затрещал дружнее. За Светцем заахали выстрелы,— там солдаты устраивали облавы на лосей... Осенью шайка разбойников напала на скит, ограбила, увела в лес семь самых молодых монахинь. Этих монахинь Дикой потом нашел у Кривого брода раздетых догола, связанных, полузамерзших. А разбойники на лошадях, отнятых у мужиков,

уехали в соседний уезд. Всю осень и зиму мужики рубили лес, горами наваливали бревна возле своих дворов. В Коровине запрудили всю улицу, бревна лежали выше изб. Ночами Дикой выходил на порубки, высматривал, соображал, рубил толстые сосны, валил их поперек дорог, делал густые завалы, словно хотел построить стену, чтобы за стеной спрятать лес.

И в самом деле, мужики натыкались на завалы, сворачивали в сторону и вязли в снегах и пнях. Они знали, чьи это штуки, проклинали Дикого, грозили, вот-вот соберутся, разгромят караулку. Измученные страхом Дарья и Настасья ругали Дикого пуще мужиков.

— Чего тебе надо? Зачем их сердишь? Пусть рубят. Разе с миром сладишь? Подумай-ка. Ты один, а их тыщи.

И Дикой метался угрюмый, злой бессильный.

Однажды вечером в караулку пришел лесник Панкратов, что жил в десяти верстах. Поговорили о порубках, о мужиках. Панкратов сказал:

— Пришел я к тебе, Дорофей, по делу. Записывайся к нам в камуну.

— Это что ж такое, камуна?

— Камуна? Это, брат ты мой, лучше американской штука. Камисия приедет, обсмотрит твое жительство. Какое твое жительство? Лошади нет? Вот тебе лошадь. Топора нет? Вот тебе топор. На посев семенов нет? Вот тебе семена. Тут все обдумано.

— Из каких же средствов дают?

— А царская казна на что? Из царской казны. Главнее всего — порядок будет. Каждый мужик за

номером будет ходить. Сустрелся тебе порубщик: „А покажи номер?“ Нет номера — в кутузку.

Дикой обрадовался.

— Ну, слава богу, додумались. А какой же это номер? Надо бы теперь требовать.

— А бумага такая. Там все прописано, сколько чего тебе нехватает.

Тут вмешалась Дарья.

— Хорошо ли номер-то? Не к последним временам подбираемся? Сказано: все за печатями будем ходить. Ты сам-то видал номер-то? С печатью?

— С печатью.

— Ну, вот, я так и знала. Ой, Доронька, не записывайся. Нет тебе моего согласия на это. Сладкой жизнью соблазнят, а потом в муку вечную запятят.

Панкратов почесал в затылке.

— Признаться, и на меня сумненье (он понизил голос). Кто записался, тот должен в бога не веровать и крест с себя снять.

Дарья и Настасья ахнули.

— Да как же так?

— Да вот так. Ныне, говорят, бога отменили...

— Ну, это антихристова шайка. Как же без бога? Да люди ли они?

— Люди. Во фрынчах ходют. И сапоги...

— С‘езди-ка ты, Доронька, сам, разузнай. Опять это, похоже, большевики. Вот мать Нимфодора говорит: у всех большевиков растет на груди песья шерсть. Ослествовать бы надо...

Дикой с‘ездил. Вернулся к вечеру торжествующий.

— Э-э, мать, народ-то какой. „Мы, говорят, тебя ждали. Как ты есть самый хороший лесник, то нам ты очень нужен“. И про порядок говорили. „Теперь, говорят, кто с бревнами едет, требуй

у них мордер. На каждую личность мордер должен быть". Заикнулся я про камуну. „Это, говорят, дело твое. Хочешь записывайся, хочешь нет..."

И на другой же день утром, злобный и решительный, с патронташем, переполненным патронами, вышел Дикой на красногорскую дорогу. Давно уже он не выходил сюда. С того дня, как лишился силы. Лес вокруг села — кольцом версты на полторы — был безобразно вырублен. Пни, как мертвецы, глядели из зеленой травы.

— Ишь, дьяволы, сами себе порадеть не могут. Рубили, что поближе.

До полудня ходил он, никого не встречая. Никто уже за лесом не ехал, у всех полно. Только к полдню попался лядащий мужичонка с двумя молодыми сосенками. Дикой, не торопясь, подошел к нему. Мужичонка попытался уехать. Дикой схватил лошадь под уздцы и крикнул:

— Мордер!

— Какой тебе мордер? Чего балуешь? Пусти. Аль старинку вспомнил?

— Мордер!

— Да какой мордер?

— На твою морду от конторы. Вот какой.

— Нет у меня мордера.

— А-а, нет? Поедем-ка в контору.

И сам сел на лошадь, вырвал у мужика вожжи.

У-у, как зашумело село, когда узнало, что Дикой опять не дозволяет рубить лес... Понашли в лес толпой, думали, Дикой будет прятаться. А он — вот он. Вышел на дорогу, прямо на них, орет:

— Чего надо?

И на рев толпы ответил:

— Не дозволю рубить!

— Супротив миру идешь?

— А что мне мир?

— Один идешь?

— Один пойду.

До вечера лаялись. А все Дикой на своем:

— Не позволю. Стрелять буду.

И не пустил...

VII

Днем на увалах грянула песня. Пело по дороге много голосов, дружно, победно. Но песня была старая, родная, местная — про разбойника Чуркина. Как бывало, леса эхом запели. Монашенка Евстолия, собиравшая бруснику возле скита, прислушалась.

— Опять бандиты?

Она поспешно побежала в скит. Пяти минут на прошло, в кельях забегали, засуетились. К воротам вышли четыре монахини. Суетливо вышла игуменья:

— Василиса, беги-ка на огород, зови-ка, чтоб шли домой. Дома-то лучше. Беги-ка.

Василиса поспешно пошла в лес, к поляне, где огород. А песни все ближе, голоса горланили у Горелой шишки.

— Лампады зажгите, — приказала игуменья, — везде зажгите. Ирина, ступай-ка, матушка, прочти молитовку на злых и ненавидящих. К нам едут. Господи, Исусь Христе. Свят, свят, свят... Пронеси, господи. Запереться-то бы нам. Чевой-то долго не идут?

К воротам вышли все: нехватало только тех, кто был на огороде. Вот и они вышли из леса. Им крикнули:

— Скорей!

И замахали руками. Вдруг песня в лесу оборвалась. И разом стало тихо.

— Ну, это теперь к нам, — решила игуменья. — Под'езжают. Боятся, что спугнут нас, замолчали. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Запирайте ворота. Окна затворяйте. Скорее. Скорее. Авось, отсидимся. Да оденьтесь все, уж если не отсидимся, пусть видят нас в нашем образе.

Черными тенями метались старухи у стен, у ворот. Вошли все в скит, затворили ворота, а за воротами загремели засовами. Все ушли в самые дальние кельи, лишь в трапезной — самой ближней от ворот — осталась сама игуменья и с ней Евстолия. Евстолия принесла игуменье кукель, украшенный белыми крестами и белой молитвой: „святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас“. В щель закрытых ставень они смотрели на дорогу. Из леса выехала сперва одна лошадь, запряженная в телегу, потом другая. Восемь парней сидело на телегах. Деловито они под'ехали к воротам.

— Матушка, да ведь это наши, красногорские, — сказала Евстолия. — Вон Иван Чубарев.

Она будто опечалилась: ждали бандитов, а пришли свои же, красногорские парни.

— Ой ли наши? Гляди, все равно не за добром. Зачем на лошадях? Зачем ехать в рабочую пору шайкой?

— Стучат.

— Ну-ну, пусть постучат. Беги, скажи, пусть все сестры идут в часовню, запоют. Раз красногорские, послушают, отстанут.

Евстолия неслышно побежала переходами в кельи. У ворот барабанили в двое рук, звонок задохнулся, — так рвали его. Из растворенных окон моленной послышалось пение. Грубые голоса

у ворот смолкли, — парни слушали пение. И вдруг заревели, заругались дико:

— Отворяй!..

Игуменья закрестилась. Никогда — вот пятьдесят два года она здесь - у ворот скита не произносили таких слов. Евстолия и Нимфодора стояли у окна, смотрели в щель.

— Пьяные будто. Что же делать-то?

— Пусть постучат.

Вдруг на гребне забора появился парень. Игуменья засуетилась.

— Выходить надо.

И вышла на крыльцо. Евстолия и Нимфодора за нею. Из окон моленной неслось громкое пение. Еще громче ругались за воротами. Игуменья спросила парня:

— Что ты, батюшка?

Парень будто смутился и вдруг крикнул:

— Вы какого чорта не открываете, когда стучат? Отворяй счас же, ведьмы старые.

Он сидел на заборе верхом.

— Отворяй! — орало за воротами.

Евстолия отодвинула засов. Парни, ругаясь, вошли во двор.

— Контр-революция? Мы вам, покажем, паразиты!

Они не смотрели в глаза, будто им было совестно. Лишь один, в зеленой солдатской рубахе, наскакивал на игуменью, совал кулаки ей к самому носу, и глаза у него были хищные, круглые.

— Я тебе покажу, старая ведьма.

— Да ведь никак это ты, Кузя?.. — крестясь спросила игуменья.

Парень дрогнул, выпрямился и закричал еще сильнее:

— Какой я тебе Кузя? Я тебе товарищ Кузьма, а не Кузя. Нашла Кузю...

И, повернувшись, он распорядился:

— Отворяй ворота!

В моленной монахини все еще пели, голосами громкими, будто не слыхали, что было у ворот. Лошади в'ехали во двор. Парни разговаривали между собой громко, ходили быстро, торопясь, словно громкими голосами и быстрыми движениями хотели подбодрить себя. Во дворе был полный порядок, чистота, деревянные дорожки, чисто вымытые, тянулись от ворот к трапезной, от трапезной к амбарам и погребу, и к калитке сада. Нигде ни соринки, ничто не лежало зря.

— Мишка, подводи лошадей сюда, — закричал Кузьма.

Он решительно широкими шагами подошел к калитке сада, отворил ее и вошел в сад.

— Ну, ребята, ближе к делу. Тащи лестницу, давай мешки.

Парни, не глядя на монахинь, вошли в сад. Яблони стояли пышные, с великолепными перегруженными яблоками ветвями. Все ухоженные, с белыми стволами. Игуменья сразу поняла, зачем приехали парни. У скита оставалась одна надежда на сад. Скит умрет без сада... Она вбежала в моленную, закричала:

— Матери. Идите скорее. Скорее идите. Умолим. Упросим. Отнимают. Жизнь последнюю отнимают.

Монахини — все семнадцать — высыпали на крыльцо трапезной. Игуменья вошла в сад. Парни трясли деревья, ломали ветви, шестами били по верхним ветвям, до которых не доберешься руками.

— Ребятушки. Да что это вы делаете-то? Да господь накажет вас. Пожалейте старух-то нас.

Кузьма подошел к ней и пьяно, возбужденно смотря прямо в глаза игуменьи, сказал:

— Гражданка, не мешайте. Мы постановили взять яблоки и никаких. Возьмем и уйдем. Отойдите.

Он взял игуменью за руку, вывел за калитку сада.

— Не моги входить, старуха. Прочь!

— Господи, да где ж управу-то найти?

Она быстро подошла к Евстолии, тянула ее горячечно к воротам, что-то шептала про Дикого. Евстолия бегом бросилась за ограду, в лес.

— На колени, матери, на колени. Молить будем, просить будем, — точно в бреду приказала игуменья и сама первая стала на колени среди двора. Монахини встали за ней. Встали длинными черными рядами. Они кланялись в землю, качались точно черные куклы, протягивали руки с лестовками к саду, к парням. Парни насыпали яблоки в мешки, выносили из сада, укладывали на телегу. А сучья в саду трещали, с глухим круглым стуком падали яблоки дождем на землю.

Не вставая с колен, монахини, вслед за игуменьей, поползли к калитке сада. Они вопили в голос:

— Ой, ребятушки! Ой, наши милые! Не обижайте нас, старых. Не обижайте нас, сирых. Хоть половиночку оставьте.

Они протягивали руки, ползли. Припадочная Евлампия упала среди двора и вопила в голос. Кузьма крикнул:

— Молчать, старые ведьмы. Мы вам покажем, как морочить народ. Вот мы до ваших сундуков доберемся. Паразиты...

... Евстолия, задыхающаяся, красная, растрепанная, с мокрыми косицами, выбившимися из-под

платка, прибежала в караулку. Настасья поила теленка. Она испугалась, увидев Евстолию.

— Матушка, что с тобой?..

— Гра... грабят. Сад. Яблоки. Всю жизнь нашу... Ой, господи.

— Кто грабит?

— Парни. На воза яблоки навивают. Где Дорофей?... Не поможет ли?..

Настасья бросила наземь шайку с разведенным молоком и молча побежала на огород. Евстолия в изнеможении повалилась на траву. Дикой прежде жены вбежал во двор и бросился мимо Евстолии прямо к лошади, стоявшей под сараем.

— Сколько их? — кричал он. — Кто там?

— Ох, господи. Восемь. Красногорские. Кузька бондарь атаманом у них. Восемь, восемь их.

Дикой на момент вскочил в сени, выбежал оттуда с ружьем, на ходу пристегивая патронташ. Он брюхом навалился на спину лошади, сел, торопливо задергал поводьями, зыкнул:

— Но, но!

На неоседланной лошади он сидел огромный, страшный, без картуза, со всклокоченной бородой и волосами, огромные ноги в лаптях у него болтались низко, задевали стебли травы. Он поехал в ворота.

— Ружье-то не брал бы! — крикнула вслед Настасья.

Дикой не оглянулся. Он свистнул, и перепуганная лошадь карьером помчалась в лес.

— Ой, как бы беды не наделал, — простонала Настасья.

Она подошла к Евстолии и увидела: монахиня — бледная, с зелеными кругами под глазами — лежит в обмороке.

... Дикой выскочил на поляну к скиту и тут увидал необычное: ворота скита были отворены.

„Здесь“, — подумал он и на скоку снял ружье с плеча. В траве возле калитки черным комом лежала монахиня. Дикой, не сдерживая лошадь, вскочил во двор. Двор был пуст. Калитка в сад была отворена. Яблони стояли с поломанными ветвями, обезображенные, без яблоков; под ними валялись шесты и лестница. На крыльце трапезной стояли две монахини. Одна, увидев Дикого, замахала руками.

— Где? — отрывисто спросил Дикой, сдерживая храпевшую лошадь.

— Уехали. Сейчас только уехали. На Горелую шишку поехали. — Она протянула руки к воротам. Дикой торопливо забросил ружье на плечо, повернул лошадь, чмокнул, гикнул, и помчался. Свежие глубокие колеи ясно отпечатались на лесной дороге. Выехав к озеру, Дикой увидел: дорога впереди была пуста на полверсты.

„Значит, не сейчас уехали. А-а, дьяволы“.

Лошадь под ним уже храпела. На увал пришлось подниматься шагом. Вдоль дороги, в траве виднелись потерянные яблоки и кое-где яблочные оглодки.

„Дорвались“, — злобно думал Дикой о парнях. — „Не дать бы только уйти“.

С увала он опять помчался карьером. Сквозь храп и топот лошади ему чудилось: впереди скачут. В одном месте, на повороте, где телеги осью задевали за сосну, валялась целая грудка яблоков. Дикой пустил лошадь во весь мах. Но дорога впереди была пуста. Еще поворот. Два туго набитых мешка валялись на дороге.

— Бросают. А-а-а!..

Дальше еще мешок. Потом целая груда яблоков просто рассыпана на дороге. Вот Пять-Братьев. Уже неясные крики слышны в стороне, — это народ работает на полях. Скоро лес кончится, поле, за полем — село. Еще мешки валяются, сразу три...

— Не догнать!

Он увидел телеги уже на опушке, — когда они выезжали из леса. Телеги скакали во весь опор. Парни нахлестывали лошадей изо всей мочи. На скаку Дикой стащил ружье, поднял и выстрелил вверх.

— Стой! — заорал он. — Стой! Стрелять буду!

С задней телеги в него выстрелили. Дикой услышал, как мимо его головы со свистом пролетела пуля.

— А-а! — исступленно заорал он. — А-а!..

И пятками наяривал лошадь, гнал, гнал. Теперь они помчались по полю. На окраине села мостик через ручей. Лошадь передней телеги, проскакав мостик, на взгорье упала, и проехала боком по дороге целую сажень. Вторая телега наехала на первую. Лошадь ударила ногами в задок передней телеги. Два парня что есть мочи убегали от телег вдоль ручья. Дикой поскакал к задней телеге и изо всей силы кулаком ударил по голове парня, державшего винтовку. Другой парень встал на телеге во весь рост и махал топором. Еще парни с топорами бежали к Дикому. Подняв ружье стволом кверху, Дикой выстрелил.

— Стой! Убью! Стой! — орал он.

Он краем глаза видел: по полю со всех сторон бежит народ.

Раз‘яренный, ястребом кружась возле телег и не давая парням убежать, он орал исступленно:

— А-а-а! Грабить?

Парни тоже орали, махали топорами. Толпа наседала. Дикой увидел: на него смотрят злобно, над головами мелькают колья, вилы.

— Наших бьют! — орали в толпе. — Не смей, Доронька.

На него наступали. Вот-вот его стащут с лошади.

Дикой протянул руку к толпе.

— Матерей ограбили. Скит ограбили. Сад поломали! — кричал он.

Толпа сразу смолкла.

— Как? Это как? — послышались тревожные вопросы.

— Приехали. Вот восемь. Все сломали, весь сад. Все яблоки забрали. Улей уронили.

— А, вон што. Это как же?

Толпа кольцом плотно окружила всех — Дикого, парней, телеги, — и народ из села все бежал и бежал.

Толпа заговорила, зашумела и шум с каждым моментом все усиливался и уже орали оглушительно:

— Убить их! Смутьяны! Грабить старух! Бей!

— Житья от них нет.

— Хулиганы! В воду их!

— Это Кузька все. Он завсегда был вором.

— Яблоков захотелось? Набить им утробы яблоками.

— Безотцовщина.

— Федот, что ж ты глядишь? Твой сын грабителем стал, а ты глядишь?

— Отступаюсь. Какой сын, ежели меня не слушает?

— Это надо разобрать! Стой, братцы, в суд надо!

— Нет теперь судов. Сами судить будем...

Дикой, оглушенный криком, таким для него необычным, слез с лошади, держал ее в поводу, смотрел на толпу молча. Он видал: одни кричали, вязали парней, связали вожжами и Кузьку, другие пробрались к возам, щупали мешки, брали яблоки, отведывали. Кто-то, смеясь, крикнул:

— А яблоки-то хороши.

И в толпе сразу будто водоворот начался — все бросились к телегам, развязали мешки, яблоки посыпались. Брали сперва по два яблока, по три, поотведать, но телеги трещали под напором, мешки потащили прочь. Даже те, кто повел связанных парней в село, и те вернулись к яблокам.

— Что ж это? Что вы, народ? Нельзя. Чужие. Вернуть надо, — орал Дикой.

— Мы вернем. Мы только по яблоку, — смеялись в толпе.

Из села люди бежали вереницей. Мимо связанных парней бежали к телегам. Дикой, охрипший от криков и волнения, от‘ехал прочь, за ручей и с пригорка смотрел, как черная плотная толпа рвалась к телегам, к мешкам, сыпала яблоки в шапки, в карманы, подолы, платки, — смеялась, гоготала, торжествовала, хрустела яблоками. Те, кто нагрузился, сторонкой бежали назад к селу, боясь, что нападут, отнимут. То там, то здесь девчонки и мальчишки дрались из-за яблоков. Дикой злобно смотрел на толпу.

— У, псы. Все вы такие!

Вдруг он вспомнил, что в лесу на дороге лежат мешки. Он сел на лошадь и торопливо поехал назад.

— Хоть эти мешки вернуть.

Мешки лежали все на тех же местах. Всего было брошено пять мешков.

„Телегу надо“, — решил Дикой.

Он поскакал к караулке. А когда часа через два вернулся назад, на дороге не было ни мешков, ни яблоков. Дикой проехал до самого села. И у мостика уже ни толпы, ни телег. Только вытоптанная кругом трава да множество оглодков, над которыми вились мухи, говорили о побоище. Дикой заехал к тестю.

— Посадили, что ль, тех-то?

— Где там посадили. Сажать, так все село сажать. Яблоки-то все ели.

Дикой вспомнил открытые ворота скита, поломанные яблони, монахиню, валявшуюся черным комом у скитской ограды, и крикнул:

— Как же теперь они? Это ведь им смерть.

— Кому им? — спросил тесть.

— Монашенкам.

Тесть потупился, погладил бороду, и ничего не сказал. И первый раз за всю жизнь Дикому было тяжко возвращаться в лес. Будто стыдно. Такое дело случилось, а он... не помог... И чуялось, что весь он, до маковки, полон ненависти к мужикам. Вот бы взять согнуть их в дугу. Только о себе думают, — воры, пьяницы, лентяи, жулики. Ух, между ладонями бы их растереть, как блоху кусючую.

VIII

Пожар начался в жаркий полдень верст за восемь от Темной Гривы. С увала было видать: в долине клубились белые плотные облака дыма и, медленно поворачиваясь, поднимались к небу.

Дарья и Настасья с Фенькой и ребятами вышли на дорогу, откуда хорошо виднелся пожар, смотрели долго.

— Спаси, царица небесная. Ежели до нас дойдет, — погорим в одночасье,— сказала Дарья.— Сбивать бы народ надо. Тушить бы.

Настасья сердито отозвалась:

— Собьешь его теперь. Теперь его пушками не пригонишь.

По дороге кто-то скакал. Слышно было, как в лесу топала лошадь. Все испуганно посмотрели на лес, точно ждали, что оттуда выскочит чудовище. На взмыленной лошади на поляну выехал Панкратов, без шапки, волосы у него развевались от ветра. Он круто остановил лошадь возле женщин и крикнул:

— Где Дорофей?

— Поскакал в контору.

— А, дьявол! Разминулись, значит. Из конторы я. Народ сбивать надо, а некому. Приказ вышел всех гнать на пожар.

— Ну, слава богу. Только пойдут ли теперь?

— Как же это не пойдут,— раздраженно огрызнулся Панкратов, — воровать так шли, а тушить не пойдут? Заставим.

Волнуясь и ругаясь, весь потный, встревоженный, он соскочил с лошади, побежал к караулке напиться, потом опять вскочил на лошадь, дрожавшую от усталости, и поскакал вниз с увала. Пожар захватывал все новые участки. Едкий дым застилал всю местность. В дыму уже исчез Светец, — только ближний край был еще виден, тусклый, тоже подернутый дымом. Солнце глядело сквозь дым круглым пятном без блеска. Птицы с беспокойными криками носились над лесом. Через поляну летели тетерева, дятлы. С тяжелым шумом пролетели выводки глухарей, — слышно было, как квохтала глухарка, перелетая поляну. Из скита приплелась мать Неонила.

— Что ж это, господи? Последние времена настали. Сгорим, пожалуй.

Дарья принялась успокаивать.

— Вот мужиков собьют сейчас, погонят тушить.

— А мы всю-то жизнь свою в землю зарыли. Как есть всю. И одежу, и иконы, и муку. Гореть сготовились. Мать игуменья с сестрами в лес пошли, ров роют. Не спасет ли господь? Говоришь, пошли за мужиками? Сами бы мы сходили, только что ж, нас не послушают, проси не проси. Не прежние времена. Это три года вот назад загорелось, мы повезли в село воз яблоков, наняли армию целую, отстояли...

... Мужиков и баб пригнали на пожар только утром следующего дня. Лесники с заряженными ружьями их провожали, как арестантов. Над пестрой толпой виднелись вилы и лопаты. У мужиков за поясами были топоры. Все были одеты в самую рваную бросовую одежу, — и лохмотья еще больше делали сходство с арестантами. Лесничий в коляске уже ждал у караулки. С ним был уездный комиссар — во френче, с револьвером у пояса. Толпу разбили на отряды. Комиссар наскоро сказал речь.

— Лес беречь надо для вас же, для ваших детей. Если вы не сознаете, что пожар надо тушить — вина ваша. Мы заставим. Кто убежит, будет предан суду, как дезертир.

Дикому дали сорок человек, спросили его, где самое трудное место. Он сказал: по Лисьему оврагу, весь огонь бьет туда. Туда его и отправили. Мужики втихомолку заворчали. Лохматый черный мужичина сказал вполголоса:

— При царизме тиранили, и теперя тиранят.

— Молчи, вор! — крикнул на него Дикой, — как воровать так первый, а лес спасать — так тебя тиранят? Я вам покажу...

Отряды один за другим поспешно пошли лесом к пожару. Озлобленные мужики и бабы шли нехотя, ворчали. Дым уже заволок всю долину, и когда спустились вниз, стало трудно дышать. Ропот стал сильнее. Но комиссар, лесничий, лесники шли молча, решительные. У всех лесников были ружья. И мужикам и бабам страшнее было это молчание, чем ружья. Они боязливо оглядывались на Дикого.

— Эй, кто со мной, поворачивай направо, — приказал Дикой, когда спустились в долину.

Разбрелись. Отряд Дикого — только сорок человек — пошли вдоль оврага. Издали слышался треск. Вз'ерошенные птицы летели навстречу. Они перестали бояться людей, садились на ветви вот рядом, — испуганные, с открытыми клювами, с опущенными крыльями, истомленные зноем и страхом.

— Господи, гибель наша! — испуганно крикнула баба, — куда ты, Дикой, ведешь нас? Али смерти нашей хочешь?

Дым и жар уже были из-за оврага. Дикой крикнул:

— Здесь! Вон он, держи! Мужики, вали дерева! Бабы, отметай хвою!

Было видно: огонь спускался по склону оврага. Дикой вытащил из-за пояса топор, бросился к молодой сосне и в четыре удара свалил ее в овраг.

— Руби! — заорал он.

Мужики принялись рубить деревья, что росли по берегу оврага. Белый удушливый дым лез из-за оврага. Дикой видел, как тенями метались бабы, сметая хвою и листья. Лес затрещал.

Срубленные сосны и ели, падая, мяли кусты по обрыву, — и широкая голая полоса вырастала по берегу оврага. Подзадоривая один другого, мужики работали дружно, даже черный, тот, что ворчал больше других. Но пахнуло ветром, зноем, и Дикой заметил: две бабы нырнули в кусты.

— Куда? Назад! — закричал он и, сорвав с плеча ружье, пустился за бабами.

Те испуганно метнулись назад.

— Яблоки жрать, али лес воровать — вы первые, а теперь бежать? Я вам...

Он носился из конца в конец вдоль оврага, бросался к соснам, рубил, хватал ветви и сметал ими хвою и листья в овраг. Рыжая голая земля полосой оставалась сзади.

Вдруг сбоку затрещало, зашипело. Огонь перекинулся через овраг. Бабы завыли, пустились бежать вдоль оврага. Мужики бросили топоры. Момент, и побегут все. Дикой бросил топор, сорвал с плеча ружье и выстрелил бабам вслед. Заряд пронесся над их головами, и бабы в ужасе присели.

— Назад! — орал Дикой, — убью!

В дыму, окруженные огнем, люди заметались, как исступленные. Мужики сами захлестывали перекинувшийся огонь. Дикой с ружьем в руках метался вокруг них:

— Сюда! Вот здесь! Гляди, здесь вот!

И сам топтал огонь сапогами. На правом плече у него загорелась рубаха, он левой ладонью затушил огонь.

— Чего, чего, остановились? Работай! — кричал он на баб.

Перекинувшийся огонь потушили. Опять Дикой погнал всех к оврагу. Опять начали рубить деревья, отметать хвою, листву.

Огонь, поднявшись из оврага до расчищенного места, останавливался и потухал. Моментами откуда-то тянуло свежим ветром. Дикой сразу понял: огонь слабеет.

— Держи! Наша берет! Еще немного, ребятушки!

Голоса из дыма откликнулись:

— Держи! Наша берет!

... К вечеру огонь на всем участке был остановлен. Мужики и бабы, измотанные работой,— пошли к караулке. Дикой шел с ними. Теперь на него смотрели, посмеиваясь, балагурили.

— Ишь, бороду опалил.

— Рубаха-то на нем горит, а он ее голой ладонью, ладонью.

— А ведь ты бы, Дикой, убил нас, ежели бы побежали?

Дикой не ответил... И только уже после огрызнулся:

— Не заставь вас,— весь лес бы пропал.

1925 г.

РАННИЙ ЦВЕТ.

I

В дверь постучали. Казаченко крикнул:

— Войдите!

Оба — Казаченко и Тарасов — посмотрели на отворившуюся дверь, и оба увидели прежде всего большие пристальные прекрасные глаза, глянувшие прямо на них, потом — чуть смущенную улыбку на румяных губах и розовые щеки, и простенькую вязаную серую шапочку, увидели и всю девушку, стройную, крепкую. Девушка, не затворяя двери, спросила:

— Товарищ Тарасов здесь живет?

Тарасов поднялся и торопливо одернул рубаху.

— Это — я. Что угодно?

— Я прочла ваше об'явление в университете. Я бы хотела брать у вас уроки.

Теперь она затворила за собой дверь и шагнула раз и другой к Тарасову.

— По... каким же предметам?

— Я должна подготовиться по политэкономике. Через два месяца мой доклад. Но я случайно отстала и запуталась.

Тарасов, наконец, овладел собою.

— Это можно. Да вы садитесь, — вот сюда, вот на мой стул.

Он поспешно пододвинул ей свой стул, а сам сел на кровать и левой рукой пощипывал верхнюю губу с правой стороны, как раз там, где должны быть усы.

— Это можно, — повторил он басом. (Басом, чтобы придать себе больше учености).

— Так вот. Я хотела бы брать уроки три раза в неделю — по часу. Я думаю, месяца в полтора смогу овладеть предметом достаточно?

Она говорила чуть торопливо, посматривая на Тарасова, и от смущения пальцами перебирала край своего пальто возле пуговиц. Тарасов хмуро ерошил волосы, делая вид ученого мужа, и бормотал:

— Это можно. Что ж, это можно.

Казаченко уткнулся в книгу и лишь изредка мельком посматривал на девушку.

Поговорили о программе занятий, о плате; наконец, девушка поднялась.

— Итак, разрешите мне завтра начать. Я приду к вам ровно в пять.

— Да, да. Я буду ждать, — забасил Тарасов.

Она ушла. Тарасов проводил ее до передней, сам запер дверь за нею и, вернувшись, с этакой гордой улыбкой посмотрел на Казаченко.

— Что, брат, какова? Вот это я понимаю.

— Да-а, девица вальяжная.

— А говорит-то как? Прямо печатает.

— Глаза у ней хороши. Вообще, не вредная девка.

— Кто бы она могла быть? Смотри, пять рублей в месяц может отваливать за уроки.

— Не поповна ли? Видал, какие у ней щеки? Такой румянец бывает только у поповых дочерей.

— А руки-то. Замечательные пальцы!

— Да, пальцы хороши. Но вот ты тоже хорош гусь: залебезил перед ней этаким кавалером буржуйским. „Пожалуйста, стульчик вам. Садитесь, пожалуйста“. Ах, ты...

— Ну, будет тебе. Что же, в шею ее толкать?

— В шею не в шею, а все-таки... Горихвостым соловьем заливаться не надо.

— Ты понюхай-ка, чем у нас лахнуть стало.

Оба подняли носы и понюхали воздух.

— Неужели духами?

— Нет, это не духами, — сказал Казаченко.

— Ну? А может духами?

— Я тебе говорю, — не духами. Ты уж мне поверь.

— Во всяком случае нам с тобой лафа: во-первых, знакомство с приятной девицей, а во-вторых, пять рублей в месяц, это не кот наплакал. Чай и сахар обеспечены. Картошки нам хватит до рождества. Забронированы вполне.

Он хлопнул ладонью по мешку, стоявшему в углу, у печки, в ногах кровати.

— Ты бы хоть газетой ее закрыл, — сказал Казаченко. — А то мешок, как купец брюхатый, выпячивается.

— Ничего. Сойдет. Запас карман не тянет.

— Посмотрю я только, как у тебя уроки пойдут.

— И смотреть не придется: я тебя буду вышибать на этот час.

— О! Бузотер ты, Володька. Куда же я пойду?

— В столовку или куда хочешь. Не могу же я при тебе урок ей давать. И она будет смущаться.

Казаченко посмотрел на Тарасова пристально и ехидно засмеялся.

II

Лекции в университете кончались в четыре. Нужно было до пяти, до прихода ученицы, пообедать, добежать домой, приготовиться к уроку. Тарасов рысью помчался из аудитории до столовой, пообедал торопливо, почти не заметил, что ел, и торопливо же пустился домой. Кое-где на улице его торопливость переходила в крупную рысь. Швырнув книги на окно, он принялся убирать комнату. Одернул одеяла и поправил подушки на обеих кроватях — и на своей и на казаченкиной, — открыл форточку, подмел пол, книги сложил стопкой на столе, нашел на подоконнике два окурка, швырнул их под кровать в самый угол за корзину, мешок с картошкой покрыл газетой, и кстати газетой же покрыл стол. И даже застегнул собственный ворот, хотя дома уже отвык, чтобы застегивать. Вот насчет воздуха плоховато, — медик Лазарев, что иногда заходит, каждый раз крутит носом.

— Вы, ребята, почаще форточку открывайте. А то у вас телятами пахнет. Со свежего воздуха непереносно.

Это немного тревожило и смущало Тарасова. В самом деле, если войти со свежего воздуха, то заметно, даже очень, что форточку открывать надо. Тарасов подошел к двери, что в коридор, и несколько раз с силой открыл и закрыл ее, так что в комнате закрутился вихрь, и бумажки полетели со стола. Из форточки густыми облаками ворвался морозный воздух. Тарасов поднял с пола бумажки, положил на место и еще раз внимательно оглянул комнату. Что ж, как будто ничего. Чисто, светло. Кровати в порядке. Над кроватью Казаченки самодельный плакат: „На

кровать прошу не садиться". Сорвать разве? Тарасов устремился, чтобы сорвать, но в дверь постучали:

— Войдите.

Она вошла, румяная с холоду, весело и чуть застенчиво улыбаясь, с клеенчатой тетрадкой в руках, а руки-то, руки-то в перчатках!

— Здравствуйте. Я не опоздала?

— Нет. Вы во-время. Садитесь.

Тарасов заговорил басом, двигался неторопливо, как и подобает ученому мужу.

— А у вас холодновато. Впрочем, и на улице сегодня холодно.

Она сняла свою вязаную шапочку и обеими руками поправила волосы. Волосы у ней были большие, связанные тугим узлом. А без пальто и шапки она стала отчетливее и красивее. Она положила свою клеенчатую тетрадь на стол, и Тарасов, увидев ее пальцы на черном переплете, удивился. Какие же они тоненькие! Но, разумеется, и виду не показал, что удивляется. Сказал важно, басом:

— Итак, начнем.

Поговорили о программе, попутно поосуждали строгого профессора, которого и понять порой нельзя. Тарасов рассказал, как он сдавал зачет.

— Спрашивает, что такое лошадь? Я говорю, домашнее животное. „Нет, говорит, не домашнее животное, а орудие производства в крестьянском хозяйстве".

Она засмеялась весело, а Тарасов, чтобы не терять своего достоинства, лишь снисходительно покривил губы. Но ему очень понравилось, как она смеется.

Он заговорил сначала тягуче, с трудом подбирая слова, но потом, глядя на ее пристальные, доверчивые глаза, разошелся, и речь полилась сама собою. Он заметил, как в некоторых местах —

особо трудных — она чуть кивала головой, „понимаю, мол“, — и тут слова сами собой лились. И у него было такое чувство, что будто он летит на больших мягких крыльях, и как будто на него светит ласковое теплое солнышко.

Он говорил бы долго, но уже конец, — уже сказал все, что на сегодня они наметили, — и девушка смотрела на него ласково, с этаким уважением, будто ждала еще. Он сказал, что и откуда прочесть, и девушка начала собираться. Он не помогал ей одеться, просто стоял у стола и смотрел, как она двигалась ловко и четко.

— Пока. Послезавтра опять в это же время? Хорошо?

— Да, конечно. Хорошо.

И дверь за ней закрылась. В сладком изнеможении Тарасов лег на кровать и глубоко вздохнул — фу-у-у... Он был очень доволен собой, доволен девушкой, Марксом, о котором он сегодня говорил, и, повернувши голову, улыбаясь, смотрел на стол, где сидела она, на „Капитал“, лежавший на столе. Хорошо!

Пришел Казаченко, громко застучал ногами, забубнил:

— Ну, что? Была! Э-э, вижу по глазам, была. Но ты, кажется, причесался? Ого-го. Пропал, брат...

— Пошел к чорту.

— Что ж она? Тупица? Ну-ну-ну, ты не махай руками. Юбочник. Ты теперь начнешь с нею бузу разводить. Как ее фамилия-то?

Тарасов удивленно открыл глаза и поднялся.

— А ведь я и не спросил.

— Разумеется, ты об имячке спросил. Зачем тебе фамилия?

— И об имени не спросил.

— Ну, и... дурак.

III

Вот будто теплее и уютнее стало Тарасову во всем городе. Он ходил все такой же — всегда серьезный, чуть хмурый. А что-то бодрило. Эта девушка с чудесными глазами. Как она смотрела на него во время урока! Ну, ясно, он ей понравился. Только вот загвоздка насчет одежи. Трудно, чтобы ей, такой чистенькой и аккуратной, мог понравиться он — в потертой до дыр шинели, в разбитых грубых солдатских башмаках. Ему, Владимиру Тарасову, это, конечно, ничего, что сейчас и потертая шинель и разбитые башмаки. Вот Ибсен, например, в эти же годы даже брюк не имел. Куда выйти, — брюки занимал у товарища. А у Тарасова брюки есть свои собственные, не стать занимать... Впрочем, разве женщины любят за одежу? Дуры, — те, конечно. Но умницы, — им подавай ум.

Второй урок сошел лучше первого. Чтобы не быть скучным, Тарасов рассказал попутно два университетских анекдота. Она смеялась так радостно. Кое-что в об‘яснениях ей было неясно, — она спрашивала, и Тарасову показалось, что в ее вопросах проглядывает прямо необыкновенный ум. А когда она ушла, Тарасов опять ходил из угла в угол минут десять — приятно взволнованный. Но Казаченко (этот негодяй всегда отравит) пришел и спрашивает:

— Как твоя буржуйка поживает?

— Почему же буржуйка? — обиделся Тарасов.

— Ну, конечно, буржуйка. Пять рублей платить такому бузотеру, как ты.

— И вовсе не буржуйка. А раз надо догнать, и не пять заплатишь.

— Ты пойдешь повиливать... Узнал, как ее зовут?

Тарасов засмеялся.

— А ведь опять забыл.

Третий урок, четвертый, — отношения стали проще, — и Тарасов узнал, что ее фамилия Смирнова, и зовут — Ксения. И она назвала его раза два „товарищ Тарасов“, а не просто товарищ. И вдруг заняла в жизни Тарасова в самом деле большое место. На лекциях, в столовой, дома — он думал о ней, — и что-то бодрило его, звало и томило. Ему было даже немного досадно, что на этот же стул, на котором полчаса перед этим сидела она, — теперь садился развязный, лохматый Казаченко и ехидно начинал:

— Што ж, как оно теперь у вас? Еще далеко до любови?

И Тарасов угрюмо отмалчивался, чтобы не дать повод для насмешки.

Но вот как-то уже ночью, поздно, оба были утомлены зубрежкой, — каждый лежал на своей постели и, загороженные столом друг от друга, они вдруг заговорили об одиночестве, о любви, — и как-то разговор перешел на Ксению. Тарасов сказал, как нравится ему Ксения.

— Знаешь, Казак, я впервые встречаю такую девушку. Честное слово.

И обрадованный, что можно, наконец, поговорить вслух о Ксении, он залился соловьем. И волосы-то у ней шелковые, и сильная-то она, и товарищ-то добрый. Вдруг из-за стола вылезла лохматая голова Казаченки, перевесилась почти прямо до лица Тарасова и залилась хохотом. Тарасова будто ошарашили.

— Ты что?

— Хо-хо-хо. Ну, я же говорил! Хо-хо-хо.

— Что ты говорил?

— Я же говорил, что влюбишься. Ну?

Тарасов возмущенно замолчал.

А Казаченко ехидно кривил губы.

— И ты ж, дурья голова, думаешь, она тебя полюбит? Хо-хо-хо. Пустые твои мечтанья.

— Кого же полюбит? Не тебя ли?

— Да уж и не тебя.

— Пошел к чорту.

— Куда тебе в любовь играть? Ты взгляни об'ективно на свой нос.

— Пошел к чорту.

— Разве можно с таким носом мечтать о любви?

— Оставь ты меня в покое, — сказал сердито Тарасов. (Ему было досадно, что он разоткровенничался).

— Да от такого носа самая невзыскательная девица на три версты убежит.

— Перестань, тебе говорю.

Казаченко опять опустился на свою кровать.

— Да жалко мне тебя, Володя. Вот завлекла тебя, а теперь бросит. Обязательно бросит.

— А да иди же ты к чорту. Вот кто уже действительно бузотер, так это ты. Наказала же меня судьба — жить с таким олухом.

— Не реви, осел.

— Эт-то уж действительно наказала.

И Тарасов сердито закрылся с головой одеялом.

IV

Ох, не надо бы. Не надо бы откровенничать. Нравится, ну и молчи. Казаченко теперь, — хоть и добрый товарищ, а без ехидства обойтись не может. После восьми — по уговору — можно бузу разводить — то-есть болтать о пустяках, можно петь, смеяться, — бывало говорили о будущей

работе, о науке, о борьбе, о литературе,— и разговоры выходили интересными и увлекательными. Ныне — Казаченко принял какой-то шутовский тон. Вдруг среди разговора, иногда серьезного, бросится на кровать и запоет:

Очи черные, очи жгучие.

Или:

Любовь... что такое? Что такое любовь?

На днях принес сорванную на улице афишу: „Любовь — книга золотая“ и наклеил на стену над своей кроватью. И все спрашивает:

— А какую страницу вы из этой книги теперь читаете?

И чтобы досадить и напомнить о Ксении, покашливал ехидно:

— Ксе-ксе-ксе.

Вместо — кхе-кхе-кхе.

Эти выходки сердили, и Казаченко стал неприятен.

— Какой ты товарищ?— возмущался Тарасов.— Ты прохвост, и ничего больше.

— А ну ты не сердись. Та я же шутя.

— Нашел чем шутить. Что срамишь девушку?

— Тебе неприятно? Не буду больше. Только ты, пожалуйста, не влюбляйся. Все равно, она обманет. Женщины — что? Женщинам, я знаю, им обязательно красоту подавай. А у тебя,— извини меня за откровенность — у тебя же совсем не благополучно с носом. Не влюбляйся, брат. Влюбишься,— одна буза получится.

— Ну тебя к чорту...

Но не помогли Тарасову разговоры ни о носе, ни о бузе. В те дни, когда товарищ Ксения должна была притти, он уже за два, за три часа

странно томился, ждал, и в локтях и коленях у него появлялась легкая ломота, и не хотелось ни о чем думать, кроме нее. Это мешало работе, и начинались перебои, пока заметные только ему самому. Дома, перед пятью часами, убрав комнату, он садился за стол и сам слышал, как сердце туго колотилось от нетерпения. Что это? Любовь? Может быть. Девушка приходила — розовая, возбужденная ходьбой, от нее пахло морозной свежестью и еще чем-то таким, что кружило голову. И если случайно их ноги встречались под столом, он поспешно отодвигался, и мысли у него путались. В такие минуты девушка смотрела на него удивленно и чуть насмешливо.

Случилось раза два, Казаченко приходил как раз к концу урока. Он торжественно раскланивался, шаркал ногами, говорил глупости. И во всем — в поклонах, в шарканьи, и в каждой его фразе — было что-то насмешливое, с точки зрения Тарасова — возмутительное.

— Чего ты дурака валяешь?— кричал он Казаченке, проводив девушку,— что это у тебя за торжественные манеры?

Казаченко делал невинные глаза:

— Ну, а если я хочу, чтобы она меня полюбила?

— А, дурак. С тобой говорить — воду толочь.

И безнадежно махал рукой. А Казаченко ложился на кровать — и тихонько мурлыкал песенки о любви,— тихонько, потому что до восьми часов — по уговору — нельзя было ни петь громко, ни разговаривать, чтобы не мешать занятиям.

А то Казаченко, уже не застав девушки, спрашивал:

— Што, ты не получил еще карбованцив?

— Каких карбованцив?

— Да за урок.

— Ну, это не твое дело.

— Смотри, брат, а то любовью увлечешься, и про деньги забудешь.

— А да иди ты к чорту.

— Што ты меня все к чорту да к чорту, ты бы к ней лучше послал. А тебе, похоже, и к чорту ходить не надо, ибо ты сам стал сатаной.

Раз вечером Казаченко пришел торжественный.

— Провожал, брат. Кралю эту провожал. Только, понимаешь, поднимаюсь на лестницу к нам, а она и выходит от тебя с урока. „Хочу проводить". „Пожалуйста",— говорит. Вежливая, шельма.

Казаченко подмигнул глазом.

— Пошли. Я и спрашиваю: „Как вы находите моего дорогого товарища. Не правда ли гениальная голова?" „Да, говорит, голова гениальная. Два тома марксова „Капитала" изучил — как не быть гениальным? Только, говорит, жаль, что у него нос вроде пистолета. А то бы совсем гениальным был"...

И Тарасов не знал, верить или не верить рассказу. И досадно было всячески; если правда — возмутительны разговоры; если неправда — возмутительна шутка.

Но эти уколы так малы были перед тем большим, горячим, что захватило Тарасова. Вот жизнь будто стала яснее, ярче, интереснее. Незнакомый, огромный город, эти бесконечные человечьи стада, бегущие по тротуарам,—нужда и роскошь, труд до упаду и окружение,— все стало как-то понятнее.

Он весело и вызывающе посматривал на встречных, и случалось: ему вдруг хотелось петь и смеяться — так, без причины. Только Казаченко со своими песнями о любви и глупыми разговорами стал еще больше чужим.

V

Во время первых уроков Тарасов и его ученица сидели один против другого по обе стороны стола, накрытого газетой. Толстый „Капитал“, уже чуть потрепанный, с потертой обложкой, обычно лежал на столе. Случалось, что во время речи Тарасов листал его и, отыскав нужную страницу, читал. Товарищ Ксения поспешно записывала в клеенчатую тетрадку начало цитаты, вытягивая шею, заглядывала, с какой страницы цитата взята. И Тарасов услужливо передвигал к ней книгу, чтобы удобнее было списывать. Так передвигать не всегда было удобно. Он сел рядом с девушкой и порой оба они склонялись над одной страницей. Ее волосы — всегда беспокойные — касались его волос, его щеки. Или вдруг, среди речи о какой-нибудь прибавочной стоимости он замечал, что его колено касается ее колена. И тогда нужно было очень встряхнуть себя, чтобы не обнять девушку. И вот странность — она как будто не замечала — ни этих электрических касаний, ни других подходцев. Также невинны и спокойны были ее глаза; и в голосе когда она расспрашивала, ни малейших дрожементов.

Это спокойствие и невинность делали Тарасова смелым и более решительным.

Этак к концу третьей недели случилось,— они прежде чем приступить к уроку,— поговорили о вчерашнем празднике, о студенческих вечеринках,— и это был еще шаг ближе друг к другу... Сидя рядом с нею, плечом к плечу, он слышал аромат ее платья, ее волос, на своих щеках он слышал теплоту ее лица, и у него сладко кружилась голова. Он сознательно сел так, что его нога должна была коснуться ее ноги. Он

заговорил громко, возбужденно,— мысль неслась,— точно летел он на крыльях. Она, захваченная его речью, шевельнулась, и, чтобы сесть удобнее, придвинулась к нему. Тарасов дрогнул и смешался. Она глянула на него удивленно. Тарасов, принуждая себя, заговорил, но голос его странно изменился. Он только чувствовал, что девушка вот рядом,— и все в нем вихрилось. Он прижался к ней крепче,— она не отодвинулась, ее волосы щекотали его виски. Он забормотал какую-то чепуху. „Обнять? Поцеловать?“ Он обернулся и протянул руки. Но девушка вдруг встала. Тарасов увидел: ее глаза смотрят испуганно и строго.

— Кажется, на сегодня довольно,— сказала тихо она.

Он сидел убитый.

— Как хотите.

— У меня и голова что-то болит.

— Как хотите,— повторил он.

Ему хотелось броситься в отчаянии на пол и завыть волком.

Она взяла со стола тетрадь, молча оделась и нерешительно протянула ему руку:

— До свиданья.

Он сидел, словно привязанный к стулу. Дверь за ней закрылась, и момент было слышно, как она шла по коридору. Вот хлопнула и выходная дверь.

— А-а,— вдруг завыл Тарасов, схватив со стола толстый „Капитал“, и ахнул его изо всей силы о пол. „Капитал“ негодующе зашипел, заверещал, взлохматился листами, и несколько листочков выскочили из него и полетели в стороны, как перья из подстреленной птицы.

Тарасов уцепил себя за волосы и свалился на кровать. В такой позе и застал его Казаченко.

— Уже и дрались?— спросил он, посмотрев на растрепанную, валявшуюся на полу книгу.

Тарасов не ответил. Казаченко поднял книгу.

— Ге-ге. Да зачем же ты, бисов сын, так книгу загубил?

Он сожалительно покачал головой.

— Пополам, еще пополам и еще пополам,— приговаривал он, собирая листы,— пропала книга. Да што вы, сбесились?

Тарасов молча надел шинель и вышел на улицу.

VI

— А-а, негодяй!— возмущался собой Тарасов,— влюбился, разыграл из себя чорт знает кого,— ловеласа, павиана. Девушка пришла за наукой, а он — подстольные любезности, обниматься полез.

От стыда у него холодело под ложечкой. Он отплевывался, словно отведал что-то очень невкусное.

— Ясное дело, теперь она не придет.

И эти два дня — до ее прихода — были самыми мучительными днями его жизни. Он даже похудел заметно.

Но в обычный час он ждал, убрал комнату, а стулья поставил далеко один от другого,— уж если придет, так чтобы не было соблазна. Без четверти пять — ее нет (хотя случалось, она уже приходила и пораньше), пять — нет... Апатично опустив голову, он шагал по комнате. Растрепанный, топорщившийся „Капитал" лежал на столе. Как укор — лежал. Но в десять минут шестого она пришла. Тарасов мельком глянул на нее. Лицо у ней было строгое. Тарасов важно и размеренным движением уселся, заговорил, поглядывая в угол (только бы не встретиться с ее глазами). Урок

прошел продуктивно. Она задала один вопрос, другой. Так просто или попрежнему просто, — и камень свалился с души у Тарасова. Он заговорил свободнее и уже поглядел на нее вольно и независимо. Даже — чуть улыбнулся. Напряженность исчезла. Прощаясь, она просто и сильно пожала ему руку.

— До свиданья.

Он успокоенный сел на постель.

— Ну, слава Аллаху, обошлось. И чорт меня дернул...

И не договорил. Минут пять он посидел, отдыхая, радуясь, что все так вышло благополучно. Потом достал из потрепанного портфеля свои лекции и разложил на столе. Вдруг вошел, почти вбежал Казаченко, радостно возбужденный, торжественный и, даже не побалаганив по обыкновению, поспешно снял шинель и с какой-то бумагой уселся к столу.

— Что это у тебя? — заинтересовался Тарасов.

— Стой!

Казаченко поднял левую руку, а в правой держал бумагу, продолжая читать. И неожиданно захохотал и повалился на спинку стула:

— Хо-хо-хо. Уморыла!

— Да что с тобой?

— Да на ж, читай. Письмо сейчас дала твоя ученица мне. Я ее повстречал на лестнице, а она и говорит: „Проводите меня, я скажу вам нечто“. И дала вот. Читай!

Задрожавшими руками Тарасов взял письмо.

„Мой милый, мой любимый товарищ“!

Буквы, крупные, кривые, качающиеся. В глазах у Тарасова зарябило.

— В любви, в любви мне об‘ясняется! Хо-хо-хо! — смеялся во все горло Казаченко.

Тарасов отодвинул письмо от себя и уткнулся в книгу.

— Ну, это твое дело. Это меня не касается,— глухо сказал он.

И Казаченко опять схватил обеими руками письмо и сказал:

— Ты смотри, как пишет-то: „Принимая во внимание биологическую необходимость, я полюбила вас, дорогой товарищ Казаченко. Ваши поцелуи мне снятся каждую ночь“. Каково?

Помертвелым сидел Тарасов и будто не слышал грубый хохот товарища.

— А, Володька! Смотри, как теперь об'ясняются в любви наши девицы. Прежде Татьяна Ларина, например: „Но я пишу, чего вам боле“... А здесь просто — биологическая необходимость. Или вот смотри дальше...

Тарасов вскочил, изо всей силы стукнул по столу кулаком и заорал:

— Да пошел ты к чорту со своим письмом, сволочь! Не желаю я слышать о ваших буржуйских мерзостях. Ну, пишет и пусть пишет. Мне какое дело? Не смей лезть ко мне с пошлостями. Прочь!

Он выхватил у Казаченко письмо, смял его и швырнул на пол. Казаченко сидел с открытым ртом, безмолвно. Тарасов, ругаясь во все горло, накинул на себя шинель, нахлобучил фуражку и пошел к двери.

— Тю, сказывся? — крикнул ему вслед Казаченко.

„Ага, вот они какие, девицы-то. Биологическая необходимость? Очень, очень хорошо. У, гады“.

Он шел по улице исступленно, сам не зная куда, толкая встречных, так что на него оглядывались и ворчали. У него было такое чувство, что

если бы кто остановил его, он закатил бы тому кулаком по лицу. Час и два он рыскал по улицам, негодуя и, только уже утомившись, начал успокаиваться.

— Что это я? Ну, влюбилась, ну и чорт с ней. Разве я имею право претендовать на ее любовь?

Он невольно вспомнил дружеские шутки Казаченко: „Ты взгляни об'ективно на свой нос".

— Конечно, женщине прежде всего нужна красота. Э, что там...

Уже к полночи он пришел домой. Казаченко собирался ложиться спать. Длинный и лохматый, в одном белье, он сидел перед столом и читал все то же письмо.

— На сон грядущий еще раз решил прочесть. Удивляюсь. И за что меня любят девицы? Вот посмотри, ей бы прямым сообщением в тебя влюбиться, так нет же, она пишет мне. Неужели я так красив? Прямо отбоя нет от девиц.

Тарасов молча разделся и лег, не глядя на Казаченко.

VII

Со сдержанной, негодующей ненавистью встретил Тарасов свою ученицу.

Ему было противно смотреть на нее. Рывком он двинул книгу на середину стола и спросил басом:

— Приготовили?

— Да, приготовила.

Она смотрела на Тарасова с любопытством, но спокойно. Тарасов задал два-три вопроса, — она ответила верно. Тогда он начал задавать самые казуистические вопросы, вгрызался в мелочи, ловил. Она путалась и на два вопроса не ответила. Тарасов мстительно торжествовал.

— Не приготовили? Некогда было?

— То-есть я как-то это из виду выпустила, — немного смутилась она.

— Из виду выпустили? Ага. Но так невозможно. Заниматься, так заниматься. Это вам не в любовь играть. Тут биологическая необходимость, но только другого сорта. Да-с.

Лицо у него кривилось от злобы. Он видал: на столе из книги: „Речи и статьи“ Ленина — торчал уголок письма — ее письма. И ему хотелось взять это письмо, бросить ей в лицо, укорить.

— Послушайте, товарищ Тарасов, зачем вы мне это говорите?

В ее голосе были — твердость и негодование. Она смотрела строго на него, Тарасов смутился.

— Заниматься надо.

— Я сама знаю, что надо заниматься, и прошу глупостей о какой-то любви мне не говорить.

Тарасов сидел пришибленно.

„А-а, вот что“.

Дальше урок шел холодно, точно и ученица и учитель держали за пазухой ножи.

Когда она ушла, Тарасов посидел один у стола, вынул письмо из книги, прочел.

— Подумаешь, еще возмущается...

С особенной ненавистью он смотрел на „биологическую необходимость“. Большие, кривые, качающиеся буквы точно дразнили.

— Ну, чорт с ней. Пусть...

Решение его было твердо.

— Не выгорело? Ладно. Разве мало их.

Опять жизнь как-то выравнялась и посерела. Лекции, сходки, „молодыми зубами грызите гранит науки“ — с лекций в столовку, из столовки домой — зубрежка или вот урок с ней, теперь уже чужой и далекой. Лишь порой — услышит ли

он где музыку, или увидит задорное прекрасное лицо, боль шевельнется в груди. Он не говорил с Казаченко, ревнуя и боясь разбередить свою рану. Его возмущало, что Казаченко точно на показ выставил ее письмо—оно так и лежало в книге, на столе, кончиком дразнило Тарасова. Казаченко не раз пытался рассказать ему, когда, где и как он встречается с Ксенией, — но Тарасов грубо обрывал его на первом же слове:

— Довольно. Держи свои тайны при себе.

И Казаченко умолкал.

Опять, как и прежде, он засиживался до глубокой ночи за книгами, точно наверстывая потерянное, или работой хотел убить хищного червя, постоянно гложущего сердце. Казаченко ложился всегда ровно в одиннадцать. Он мощно храпел или посвистывал носом во сне. Когда он закрывал свои прекрасные живые глаза, — все лицо у него глупело. Тарасов пристально всматривался в него.

— Неужели? Неужели только за красивые глаза и за красивый нос она его полюбила? Или за балагурство?

И жестокое чувство теребило его сердце.

— А ведь какой скромницей притворилась... Пустышка!

Он вспомнил, какова любовь у других — у его товарищей студентов. Свиданья под лестницами, в темных углах. Может быть, и она уже целуется с этим вот... свистуном?

— Нет. Хватит трепаться. Никакой любви не надо!

VIII

Ну, что же, все кончается. Еще урока четыре— и прощайте, товарищ Ксения! Программа почти пройдена. Она уже знала — отчетливо знала, что

полагается. Хоть и пустушка, а память у нее отличная,— это надо признать.

— Знаете, я маленький доклад приготовила.

Она застенчиво вынула из портфелика исписанные листы.

— Доклад? Это хорошо. Очень поможет.

Она подала ему листы. Тарасов вздрогнул.

— Это вы сами писали?

— То-есть как?

— Ну, то-есть, это вы лично? И почерком вашим?

— Конечно. Вы думаете, я неграмотна?

Она засмеялась задорно. Тарасов рассматривал листы, то приближая их к глазам, то отодвигая. Доклад был написан мелким, четким, чисто-женским почерком. „Что ж это такое? Почерк, почерк".

Он так заволновался, что не был в состоянии понять, что читает.

— Я сегодня устал. Вы оставьте доклад у меня, я прочту, и в следующий раз мы поговорим подробно.

Она согласилась. Прощаясь, она сказала:

— Вы сегодня опять странный. Вероятно, вы очень утомляетесь? Да?

Он ничего не сказал ей, только беспомощно улыбнулся. Он проводил ее до выходной двери, тигром бросился назад, в комнату, схватил книгу, где лежало письмо, „ее письмо", и захохотал. Какая глупость!

— О-о, поверить... Подделка, обман, грубая шутка. Кто сделал? Казаченко? О, проклятый, хитрый хохол.

Он возмущался и вместе смеялся. Держа в руках доклад и письмо, он долго сидел на кровати, качал головой и улыбался. „Какого же дурака я свалял, поверив".

Он представил, как, мистифицируя, над ним смеялся Казаченко, и, погрозив кулаком двери, сказал вслух:

— Подожди же ты!

Пришел Казаченко, и только повернулся лицом к вешалке, чтобы снять пальто, Тарасов накинулся на него, схватил за ворот, толкнул раз, другой и повалил на кровать.

У Казаченко мелькнул в глазах испуг.

— Тю, сказывся?

— Прохвост! Негодяй!

— Да ты шо-о? Сглузду з'ихав?

— Кто писал это письмо? Ты? Ты!

Казаченко сразу понял все и притворно вытаращил глаза.

— Яко письмо? Ни якого письма я не пысав.

— А это?

Тарасов сунул „ее письмо“ к самому носу Казаченки.

— Это кто писал?

Казаченко расхохотался, а за ним и Тарасов.

— Шо-о? Вот это была штука! — хвалился Казаченко. — А ты, дурень, и поерив? Хо-хо-хо.

Тарасову хотелось сказать, как он в самом деле поверил письму, сходил с ума, готов был на преступленье, — но промолчал.

— Та-ак вот оно что!

Они перестали смеяться. Тарасов сердито спросил:

— А все-таки скажи по совести, зачем ты надул меня?

Казаченко задумчиво потеребил ус.

— Не люблю.

— Что не любишь?

— Не люблю бедной студенческой любви. Будешь ты ходить да клянчить: „Товарищи,

помогите кто сколько может, моей жене надо аборт сделать". Или — еще хуже — она сама пойдет: „Меня муж бросил, Володька Тарасов, пожертвуйте, товарищи, на построение аборта". Тьфу!

Тарасов посмотрел на товарища испуганно и крикнул:

— Что ты бормочешь, болван?

— А вот это самое. Ты об этом думал? Сам, наверно, видел — ходят по коридорам и клянчат, чтобы сколотить тридцать рублей — заплатить доктору. Это хорошо?

„Да, да, так бывает!"

Он отвернулся, смущенный.

— Ну? Что же скажешь?

— Это не про нас писано. До этого не дойдет.

— Ну, да, — ехидно сказал Казаченко, — вы же ангелы, силы бесплотные.

И вдруг рассердился:

— Дурень ты, Володька!

— Ну, не твое дело это.

— А не мое, так и пошел к чорту!

— Ну, и ладно. Сам иди туда же.

И замолчали оба. У Тарасова заныло под ложечкой.

„А ну, если правда?"

Стало неприятно, но выплыло — румяное лицо, темные, пристальные, прекрасные глаза, и вся она — высокая, крепкая, с молодой тугой грудью.

— Не правда!

И Тарасов засмеялся.

IX

— И тебя звала. Пойдешь, что ли?

Казаченко нерешительно потеребил ус.

— Уж и не знаю как. Пожалуй, пойдем.

— Пойдем. Прошу тебя.

— Да ты почему не один? Или боишься?

— Нисколько не боюсь. А так хочется, чтобы и ты был.

— Что ж, ты меня хочешь сватом наладить?

Тарасов рассердился.

— Опять ты с глупостями? Ну, не хочешь итти, чорт с тобой.

— Пойду, пойду, не сердись.

Они долго мылись, чистились. Казаченко поплевал на тряпку и внимательно вытер свои порыжелые сапоги. И, собираясь, посматривали один на другого и усмехались.

— Гарно! — крикнул Казаченко и топнул в пол чищенным сапогом, — то-есть теперь ни одно бабское сердце не устоит перед твоей прической, Володька.

Тарасов ничего не ответил, запел тихонько:

Журавушка, журавель.
Журавель молодой.

Напевая, оба веселые и задорные, они вышли на улицу. Зима уже встала крепкая, с ядреным морозом. Улицы сияли яркими цепочками фонарей, шумели веселой, говорливой толпой, звонили трамваями, — казались нарядными, точно справляли праздник. Из окон магазинов на тротуары падал белый, золотой, голубой свет, — переливался на снегу. Ехали извозчики, лошади заиндевели, легкие саночки визжали полозьями, а седоки, закутанные в меха, покачивались. Гулко неслись ослепительные глазастые авто. Да, да, праздник. И морозный пар валил из каждого рта. И все в этот вечер — женщины, девушки, мужчины, — казались красивее, бодрее, чище...

Казаченко сбил шапку на затылок, прямой и задорный, вызывающе посматривал на встречных,

улыбался, напевал. Вышли на Арбат, взялись под руки, чтобы удобнее пробираться в толпе. Вот и переулок, — тот, нужный. На углу многими саженями размахнулась вывеска пивной.

— Стой! — крикнул Казаченко, — выпьем пива... шоб храбро дело шло. Идет?

— Идет.

Не присаживаясь у столика, они выпили по кружке пива. Казаченко, усмехаясь только глазами, сказал:

— Наши окончательно закутили: бутылку пива выпили вдвоем.

Тарасов почувствовал, что смущение, мучившее его целый день, пропадает. В переулке было тихо, полумрачно, и прохожие казались тенями. Приятели запели громко, и ладный скрип снега под их сапогами бодрил. Только у двери, на которой белел нужный номер, Тарасов остановился, чтобы сдержать прыгающее сердце.

— Стой.

— А чего стоять? — пробасил Казаченко, — за постой денег не платят.

И нажал кнопку звонка изо всей силы.

Веселые голоса, пение, дреньканье мандолины рванулись из отворенной двери. В передней, на вешалках, горами висели пальто и шинели. А в углу комнаты пальто лежали кучей прямо на полу.

— Уже поют? — сказал Казаченко и подмигнул.

Приглаживая ладонями волосы, приятели двинулись в соседнюю комнату. Ксения их встретила у двери. Тарасову показалось: она обрадовалась, пожала ему руку крепко и долго. Среди комнаты высокий черный студент, размахивая руками, пел:

Записался я в отряд,
Теперь очень даже рад.

Со всех сторон молодые лица, смеясь, смотрели на него. Студент страшно взмахнул руками, и все грянули хором:

Журавушка, журавель,
Журавель молодой.

И громче всех, тоже притопывая, запел Казаченко. На него сразу обратили внимание, и все одобрили: это было видно по смеющимся лицам. Ксения взяла Тарасова за руку, увела в другую комнату, где среди большого стола, уставленного пустыми и недопитыми стаканами, кипел самовар. Она сама налила ему чаю, добыла бутерброды с колбасой, — и почему-то эта милая заботливость так взволновала его, что вот хоть сейчас падай на колени и об'ясняйся в любви. Гул пения, голосов неслись из соседней комнаты. Ксения сидела против Тарасова, смотрела ему в лицо, говорила:

— Я думала, не придете. Так поздно.

Тарасов пил молча и упорно, и пот мелким бисером усеял его лоб. Ксения здесь казалась ему и выше ростом, и серьезнее, и независимее. Они опять прошли в зал. Казаченко уже оттеснил черного студента и теперь сам дирижировал, пел, притопывал. Он уже собрал кружок украинцев, и они пели песню за песней — то грустные и тягучие, как степь осенью; то жаркие, — живые, задорные. Ксения и Тарасов сели на окне, в углу, рядом. Она накинула на плечи платок, куталась. Оба молчали, слушали песни, порой, когда Казаченко выкидывал коленце, переглядывались, смеялись. Музыканты из соседней комнаты перешли уже сюда. Чьи-то лохматые головы и спины загородили Тарасова и Ксению от Казаченко, от света, от чужих глаз. Стало тесно. Хором пели — под гитары и мандолины — украинскую песню про

гору и про „зеленый густесенький“ гай, что над горой. И хотелось чьей-то ласки. Тарасов взял правой рукой руку Ксении и погладил. Та мельком, через плечо, глянула на него и отвернулась. Но руки не отняла. Он наклонился к ее уху и волнуясь, зашептал:

— Я люблю вас.

Он увидел, как запылали ее ухо и щека, и крепко пожал ее руку. Она отвернулась еще дальше, словно хотела спрятать свое лицо. Но руки не отняла.

1924 г.

НЕЧЕСТИВЫЙ КОТ ФОМКА.

Колотилихина кота Фомку весь курмыш знал. Серый кот, здоровенный, гладкий; проведешь рукой по шерсти,— шерсть искрами пойдет, вздыбится, вся затрещит. Ну же и любила Колотилиха Фомку! Просто души в нем не чаяла. На поминках, бывало, сама не доест, а Фомке кусочек понесет. Мало того, бывало пойдет в кухню после поминального стола и зачнет просить:

— Не осталось ли у вас мясца кусочек или косточек мягоньких? Фомке бы моему.

— Ох, дуй тебя горой. Тут поминки, похороны, слезы, а она с котом лезет.

Ну и сердились, и ругали, и знали через это самое кота Фомку во всем курмыше.

И, снисходя к слабости человеческой, бывало, чтобы задобрить Колотилиху, сами давали ей:

— На-ка отнеси Фомке.

Колотилиха так вся морщинками и расцветет.

— Я,— говорит,— за твое здоровье вечерком псальму лишнюю прочту и начал за тебя положу, потому Фомке праздник ты сделала.

Сама-то Колотилиха личность замечательная: ее не только весь курмыш, прямо полгорода знало. Она покойников обмывала, псалтырь над покойниками читала и, главное, могла лечить разные

болезни: и притку, и грызь, и сглаз, и свиной волос, что под кожей у младенцев заводится и заставляет их всю ночь накриком кричать, и кольчужку из живота выгоняла. Прямо, замечательно лечила. И по простоте, так что всякой бабе было понятно, не то, что там докторские порошки иль касторка. И вернейшее лекарство у ней была зола четверговая. Бывало в святой четверг три печи истопит, золы целую гору нагребет. И чуть кто заболеет, она сейчас полстакана золы намешает в святой воде — „выпей-ка“.

Куда-а там докторским порошкам.

Ей в руку монетку за это, другую. А она:

— Нет ли у вас кусочка мясца для мово Фомки?

— Тьфу ты, господи!

В мыслях обругаются, но дадут: и у хороших людей бывают слабости, и снисходить к этим слабостям надо.

И вот пришли эти самые дни, когда из деревень, из-за Волги, со всех сторон голодный народ попер.

— Пода-айте христа ра-ади-и...

— Бог подаст, сами с голоду мрем.

А те не верят, что бог подаст, стоят под окнами, у дверей стоят, клянчат:

— Пода-ай-те.

Опухшие лица будто водицей налиты, глаза у иных прямо щелки — смотреть страшно, а у иных вот по пятаку по целому, и тоска в них смертная так и глядит прямо в душу.

— Подайте.

— Господи, да ведь подать-то нечего. Когда было, подавали, никому не отказывали, а теперь...

— Кошечки нет ли у вас или собачки; спасите, умираем.

— Была кошка, отдали уж. А вы идите к Колотилихе, у ней кот есть, прямо баран целый...

И по доброте своей расейской к калитке выйдут и рукой покажут:

— Вон видишь угол-то? Так вот за этим углом есть проулок, в проулке третий дом от угла, голубые ставеньки — там Колотилиха живет, у ней кот еще остался... А мы свою кошку давным-давно отдали.

Ну, нищие гужом к Колотилихе. Прямо со всего курмыша. Остановятся под окнами:

— Подай христа ради кошечку, спаси, умираем.

Вот назола. Колотилихе хоть в петлю лезь. Одно в жизни утешение — кот Фомка, и того с'есть хотят.

— Нет у меня никакой кошки. Нет. Бог подаст. Идите в другое место.

А нищие стоят и стоят.

— Подай, матушка, спаси... Аль кот тебе дороже нашей жизни? Подай.

Это Фомку-то.

Прятаться бы Фомке надо, а он, разбойник, на окно все лезет, любит он на окне на свету жить. Ну, и галдеж. Нищие просто гамозом:

— Вот он, подай!

Сколько раз хотели окна бить. Колотилиха иной раз кусочками задабривала нищих. Так даст в полпальца кусочек:

— Примите христа ради.

Только бы Фомку не тревожили...

Ну, а потом пришло — не только нищим, Фомке даже, себе даже и то поесть нечего. Покойников вон сколько прибавилось, кажний день, да что толку в них?

— Нет ли у вас кусочка лишнего Фомке бы мому?

— Что ты, матушка? Видала, чай, помянуть нечем было. Уж ты не обессудь.

И пойдет Колотилиха домой с пустыми руками. То-есть, ей подадут ситцевый платочек какой, аль полотенце, аль юбчонку, да этим Фомку не накормишь. И зазнал же кот беду... В месяц какой вся сыть у него прошла. Шерсть клочьями — гладь ее не гладь — уж не затрещит, как прежде.

Придет Колотилиха домой, а он ей навстречу:

— Мекеке?

— Принесла дескать?

Той даже совестно станет.

— Не принесла, Фомушка. Ничего, миленький мой, не принесла. Ничегошеньки у людей не осталось, до рук все доели. Вот я тебе картошкиных очисточек счас сварю...

Ну, какая же пища для кота картошкины очистки? Кот — не люди. Вот голодает Фомка, а не ест. Когда-когда принесет Колотилиха ему кусочек...

И стал Фомка рваться вон из дома. Просто зверем сделался. Пускай его на двор и все.

— Куда ты, дурачок? Тебя там поймают и с‘едят.

Нет, не верит, все свое:

— Мекеке! Мекеке!..

Думала, думала Колотилиха, как быть, и придумала: стала Фомку на поминки брать. Прибегут за ней:

— Матушка, иди скорей, у нас тятя помер, обмыть надо.

— Я что же, я пойду. Только ведь я не одна, я с котом Фомкой.

— Все одно, иди, матушка, надо как-нибудь.

Ну, Колотилиха Фомку в корзину, закроет его мешком и идет.

На поминках хоть маленький кусочек хлебца, а перепадет и коту.

* * *

Так вот.

Дни-то за днями, кубарем, как мальчишки шаловливые, а люди все унылее глядят — и могила в глазах. Крикнуть бы караул. Позвать бы. Помолить бы. Да где? Кричи, зови, моли. Глухо все. И небо, и люди. Не только сытые, сам бог забыл весь край. Лишь смерть не забыла. Стучит во все окошки, во все двери стучит, по всем дорогам ходит, на всех перекрестках маячит серым мороком, жадная смерть. На что Колотилиха нужный человек, и та заголодала. А Фомка прямо в отчаянность впал. Орет тебе — прямо вот будто его режут. Голос с голодухи у него стал тонкий да пронзительный, всю душу у Колотилихи выматывает, как нитку на клубок.

— Ну, чего я тебе дам? Ну, ты подумай своей глупой головой. Видишь? сама дохну. Ноги-то у меня... видишь?

А кот все одно:

— Мекеке-е-е. Меке-ке-е...

Ах ты, будь ты неладен...

Раз перед утром в окно: тук-тук-тук...

— Кто там?

— За тобой, моя милая. Иди скорей, у нас мамаша померла.

— Эт-то у кого же?

— У нас, у Малининых.

— Иду, счас иду. Только ведь я с котом хожу, с Фомкой.

— Все равно, иди.

Пришла Колотилиха, корзину с котом на лавку поставила в кухне и первым долгом начал положила перед иконами. И говорит потом:

— Нет ли у вас кусочка какого мому бы коту Фомке?

Дали. Поморщились, но дали. Кусочек, в палец. Кот жрал и дрожмя дрожал от жадности.

Обмыла Колотилиха покойницу, уложила ее в угол передний, вой по всему дому, все плачут — оттого, во-первых, плачут, что мамашу всем жалко, а еще главное оттого, что знают: сами скоро вот таким же путем... И все в отчаянности. Только Колотилиха спокойно псалтырь читает — дело ей привычное покойников глядеть, да кот Фомка спокоен — у ее ног трется, смутился в чужом-то дому, и от смущения про голод забыл, сидит, на все большими глазами смотрит.

До вечера до самого читала Колотилиха псалмы святые. А есть ей так только кусочек дали — в ладонь не больше, да картошку вареную без соли. Полкуска коту она отдала.

— Ешь, Фомушка, ешь...

Вечером покойницу в гроб положили, обрядили, все честь-честью, не так, как у других,— вот у других без гроба, без покрышки стали хоронить. Здесь все по-хорошему. Только вот когда стемнело, хвать, свечек-то нет. И маслица нет. Тьма.

— Придется всем спать ложиться.

Ну, что же, и легли.

Две комнаты у Малининых. В одной покойница, а в другой — дочери-девки, и с ними Колотилиха со своим Фомкой. Легли и долго заснуть не могли. Плакали девки-сироты: мамашу жалко и себя жалко. А Колотилиха им разные слова говорила, чтоб не больно сухотились они... И уже не знай, когда заснули. А Фомка все возился возле — и так уляжется и этак — нет ему сна, голодный. Колотилиха его уж и шубой своей прикрывала, и так и сяк — боялась, убежит кот на двор, а там его сцапают и сожрут. Ведь народ-то ныне какой...

Так в заботах о коте Фомке и глаза закрыла.

Утром — свет едва забрезжил, проснулись девки-сироты, прямо на постелях еще вой подняли:

— А милая ты наша маменька...

И Колотилиху разбудили.

Поднялась Колотилиха, глядит — Фомка возле лежит, ленивый такой и глаза открыть не хочет, а сам толстый.

— Ну, сожрал что-то,— подумала Колотилиха.

И тайно порадовалась: сожрал, значит, силы себе прибавил, просить не так наянливо будет... А молчит сама; пусть все идет, как идет.

— Господи, сусь христе...

Благочестиво так вздыхает, будто ничего не ведает.

Девки уже собрались, в комнату поплелись на мертвую мать глянуть.

И:

— А-а-а!..

Обе, как на змею наступили, заорали и шарахнулись сперва в комнату к Колотилихе, а потом в дверь и на улицу.

— А-а-а!

У Колотилихи даже руки дрогнули. Вскочила она с постели, валенки дрожащими руками надвинула и глядь в дверь, а там покойница-то... покойница-то... открыла покрывало... и смеется.

Ахнула Колотилиха, и в дверь, да на улицу. Девки по двору мечутся, вопят. Народ собирается...

— Что такое?

— Так и так, мамаша красным лицом смеется.

Ну, нахрабрились малость, пошли глядеть...

У покойницы нет лица. Ни носа, ни глаз с веками, ни щек, ни губ, ну, ни клочка кожи. Даже десен нет.

Кости голые остались. Лежит покойница в гробу, смеется страшным смертным смехом...

— Как? Кто?

— Кот Фомка.

Глянули в другую комнату, а Фомка на лавке сидит, глаза большие, злобно смотрит. Потом прыг с лавки на пол. Ка-ак все прыснут из избы!..

— Ой, ой, батюшки!

Тот кричит:

— Я боюсь!

Другой кричит:

— Я боюсь!

Колотилиха и та:

— И я боюсь его, девыньки.

Ну, нашелся тут Степан Коротин — кузнец. Ушел он в избу, а Колотилиха прижалась к воротам — вся бледная, дрожит. Вышел Степан на крыльцо, Фомка закутанный в полушубке у него бьется,— в одной руке Степан кота несет, а в другой — топор.

— А, батюшки...— вздохнула Колотилиха.

Да как вспомнила покойницыно лицо, и молчок.

Из-под сарая котячий вскрик резнул ее в сердце.

Ну и все.

Пошли люди в избу, к покойнице, глядеть, как она смертным смехом смеется.

Пришел на двор нищий — высокий, глаза на водянистом желтом лице — щелочки.

— Подайте.

Кто-то ему сердобольно:

— Поди за сарай, там кот лежит в снегу зарытый. Счас только убили.

Нищий аж прыгнул от радости.

— Ну? Где? Христа ради, покажите...

Порылся в снегу, понес скрюченного смертью Фомку в руке торжествующий такой. Идет и полой его прикрывает, чтобы другие не отняли.

А Колотилиха и читать над покойницей не стала,

Взяла корзиночку, в которой она Фомку сюда принесла, и пошла домой.

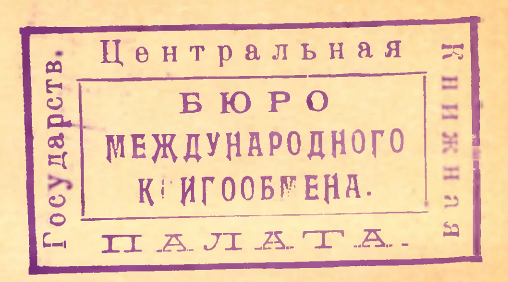
Да как вышла за ворота, да как глянула на пустую улицу, да как вспомнила... и завопила в голос:

— А милый ты мой, Фомушка...

Что же, всякому свое горе.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЦЕНА 1 руб. 75 коп.



СКЛАД ИЗДАНИЯ:

МОСКВА, улица Герцена, 31. Тел. № 37-11.